**Олеся Николаева.**

[**Ничего страшного**](http://azbyka.ru/fiction/nichego-strashnogo/)

Дом этот достался мне чудом. Бог послал мне его множество лет назад по молитвам духовного моего отца игумена Ерма. Потому что как только тот поселился в Свято-Троицком монастыре, он все время мне говорил:
— Вам надо непременно купить здесь дом, чтобы не ютиться по чужим углам, а наслаждаться свободой.

*Святочная повесть*

**I**

Дом этот достался мне чудом. Бог послал мне его множество лет назад по молитвам духовного моего отца игумена Ерма. Потому что как только тот поселился в Свято-Троицком монастыре, он все время мне говорил:

— Вам надо непременно купить здесь дом, чтобы не ютиться по чужим углам, а наслаждаться свободой.

Действительно, приезжая в Троицк, я каждый раз искала себе пристанища. Один раз ночевала даже в доме для бесноватых — такая покосившаяся, вросшая в землю избушка у самых стен монастыря. Бабка-хозяйка сдавала место для ночлега по рублю с носа, и бесноватые, приезжавшие на отчитку к отцу Игнатию, спали там в одной комнате на полу, на всякой ветоши вповалку. Ну и меня угораздило туда попроситься — время было позднее, зимнее, все дома в Троицке стояли запертые, без огня, мела метель, выли собаки, и луна, поистине невидимка, придавала округе что-то зловещее, словно внушала мне: не приезжай больше сюда, пропадешь, погибнешь, не сносишь буйной головы, сорвут ветры злые с тебя твою черну шапку… И что было делать? Ткнулась я в эту избушку, дала трешку — хозяйка уступила мне свою горницу, за тонкой перегородкой от бесноватых я и перекантовалась кое-как. Только страшно было ужасно — бесноватые выли, рычали, храпели, ворчали, бесы из них кричали на разные голоса…

Потом я стала останавливаться в единственной троицкой двухэтажной гостинице с единственным же рестораном. Там до полуночи играл оркестр, оглушая диковинными песнями — как ни силься не слышать, а все бьют тебе по мозгам затейливые словеса: “Эй-эй-эй, девчонка, где взяла такие ножки? Эй-эй-эй, девчонка, топай-топай по дорожке!”. Или: “Куда же вы, девчонки, девчонки, девчонки, короткие юбчонки, юбчонки, юбчонки?”. Существо я впечатлительное и отзывчивое, поэтому все это записывалось у меня в мозгу и в самый неподходящий момент вдруг начинало там крутиться с магнитофонной скоростью. Пытаюсь ли заснуть, стою ли в очереди, еду ли ночью вдоль улицы темной, молюсь ли на литургии, а у меня в голове пульсирует: “Эй-эй-эй, девчонка, где взяла такие ножки?”. Наконец, приютила меня тайная монахиня Харитина: домик у нее крошечный, но тихий, чистенький и благочестивый. Мы с ней все время кафизмы читали и вели духовные беседы за чаем. Но отец Ерм сказал:

— Все-таки надо вам иметь здесь собственный дом. Считайте, что такое вам благословение.

Но все дома в Троицке и даже в его окрестностях — в деревнях и на хуторах — были мне не по карману. Ну не сарай же покупать, в самом деле! Так что весьма долгое время ничего подходящего я отыскать не могла. Но отец Ерм считал, что я просто плохо ищу. Потому что ведь сказано: “ищите и обрящете”. Я и продолжала искать, а он за меня молился. И вот однажды иеромонах Иустин, теперешний игумен, мне говорит:

— Я знаю, ты ищешь дом. Пойдем, посмотрим — я слышал, тут есть один такой подходящий домик. Я даже хотел купить его для своих родителей, но они уже старые и немощные. Вряд ли смогут в нем жить.

И мы пришли к большому дому на высокой горке, по склонам которой росли дивные фруктовые деревья, и тянулось небольшое поле с цветущей картошкой. Встретила нас радостно крепкая бодрая старуха:

— Я как раз Богородицу молила, чтобы послала мне хороших покупателей. А сегодня мне был сон: голос какой-то мне говорит — иди, встречай, пришли твои покупатели. Ну, так и принимайте хозяйство, а то мне надо домой, в Эстонию. А дом я получила в наследство и не могу уехать, пока его не пристрою.

Дом был великолепный, из белого камня, с округлыми углами, с мансардой. Строили его еще немцы. И я даже находила в нем потом брошюрки о счастливой фашистской жизни: белокурая упитанная фройлен с улыбающимся немецким офицером нюхают общий цветок. И еще там содержалось множество полезных советов: как откачать утопленника, как вытащить из петли удавленника, как вывести садовых улиток и потравить крыс. Вокруг дома был, повторяю, огромный сад, фруктовые деревья и ягодные кусты — в каких-то промышленных количествах.

— Вот-вот, — подтвердила хозяйка, — бывший-то владелец, покойник, всю жизнь питался с этого сада. Много я с вас за него не запрошу — вижу, Богородица мне вас послала.

Выяснилось, тем не менее, что она хочет семьдесят тысяч. По тем временам это была ровно тысяча долларов. Однако в права наследства она еще не вступила, поэтому деньги я должна была ей отдать через пять месяцев. А к тому времени они обесценились в два раза. Я предлагала ей тысячу долларов, как мы и договаривались, но она отказалась:

— Нет, семьдесят тысяч так семьдесят тысяч. А то Богородица мне не простит.

Так и стала я домовладелицей, а хозяйка укатила в свой Кохтла-Ярве. Потому что там у нее был пьющий сын, требующий присмотра, а другой, его брат-близнец, сидел в лагере за пьяную драку.

Как я любила, как обихаживала свой домик с садом! Отец Ерм его освятил, по четырем сторонам света начертал кресты, покропил святой водой, обошел по саду вокруг дома с иконой. Я ремонт в нем сделала, проводку поменяла, газовую плиту ему купила, лампы, книжные полки, письменный стол. Хотела даже второй этаж достроить: отодрать доски, которыми заколочены окна, вставить рамы, оббить вагонкой. Подрядила трех офицеров из военной части: они обещали регулярно подвозить мне, как генералу, стройматериалы и крепкую солдатскую рабочую силу. И удалось мне это, как ни странно, благодаря перегоревшим пробкам.

Они перегорели еще во времена “до плиты”, а стояла зима, а в доме были мои дети, и без электричества мы были обречены если уж не на голодную смерть, то на сухой паек с ледяной колодезной водой. Я выскочила на улицу, чтобы позвать на помощь кого-нибудь из соседей, а там как раз вышагивали, зорко поглядывая по сторонам, три бравых офицерика, и, как выяснилось, шли они не просто так на праздную “побывку”, а целенаправленно в поисках беленькой. А этой беленькой в ту пору у меня были большие запасы, поскольку только на нее и можно было в Троицке что-то раздобыть: такая здесь была и валюта, и такса. Видимо, вид у меня был такой искательный, что они спросили меня:

— Чего ищем?

Я отвечаю:

— Да пробки.

А они говорят:

— Уважаемая, была бы бутылка, а пробку мы тебе всегда раздобудем.

Я говорю:

— Бутылка у меня как раз имеется.

Тогда они погнали младшего по званию в военную часть, и вскоре он вернулся с победой. Но мне все же показалось, что обмен неравноценный, и я выторговала за ту же бутылку еще и установку этой пробки, вплоть до включения света. Они так и спросили:

— Уважаемая, так вам еще и установку?

Прошли в дом, суетливо посовещались в темноте у щитка, потому что пробка их оказалась какая-то бросовая, негодная пробка, и они от досады даже принялись совать в щиток собственные пальцы, чтобы проверить наличие электричества, но поспешно отдергивали и дули на них, подпрыгивая и тряся руками, и все им не терпелось получить обещанное вознаграждение. В конце концов, они проявили смекалку и поставили жучок. Свет загорелся. Жучком оказался ржавый кривой гвоздь гигантских размеров, одна только шляпка его была с добрую пятикопеечную монету советского образца. Однако он все никак не хотел занимать нужную позицию, а норовил самым бесполезным образом задраться вверх, и, как только его выпускали офицерские пальцы, тянувшие его книзу, свет тут же и гас. Поэтому он был зафиксирован в должной позиции при помощи сложнейшей конструкции: в качестве груза на него повесили молоток, прицепив его с помощью петли, сделанной из старого пояска от халата бывшей хозяйки, валявшегося тут же на полу и обойденного суетой уборок. Довольные, со словами “дело мастера боится”, они просительно замерли в ожидании мзды. Однако я не торопилась тут же выставлять им на стол высококачественный товар за такую халтуру: я прикидывала, не обойдется ли дело просто стаканом. Но они, ломая в руках шапки, стали убеждать меня, что стакан для них — это так, только ноздри пощекотать, а вот если я им презентую бутылку, то она пойдет у нас как аванс — в счет будущего:

— Уважаемая, ведь если что понадобится по хозяйству или по строительству, так не скупясь запасайся горючкой и свистни нам, так мы тебе по первому же свистку половину военной части организуем — и бетон, и цемент, и кирпич, и доски, и солдат-строителей.

Они вышли из дома, и я видела из окна, как они спускаются с холма, подпрыгивая и подскакивая, роняя в снег шапки, счастливо хохоча и клубясь вокруг воздетой к небесам руки, в которой сияла вожделенная горючка, сулящая мне в недалеком будущем целые хоромы. Наверное, им казалось, что они ловко меня провели. А я была уверена, что это я мастерски заловила их на крючок. Буду теперь их подманивать и распоряжаться: “А подать мне сюда машину раствора и дюжину мастеровитых служивых!”. Но отец Ерм мне это категорически запретил:

— Что — ворованное?! А откуда, вы думаете, они все это возьмут — и бетон, и цемент, и доски с кирпичом? Всю часть обчистят!

Так я и не свистнула офицерам. И второй этаж остался недостроенным…

Зато за садом я ухаживала сама. Землю вскапывала, деревья окучивала, сорняки выдергивала, даже картошку сажала по весне — чувствовала себя Львом Толстым: попашу, попашу — попишу стихи. Похожу босиком, потравлю вредоносных улиток — и напишу рассказ. Такой это был чудесный дом, посланный мне свыше по молитвам духовника, что мне казалось, если он при мне придет в разоренье, а сад в упадок, то на мне будет большой грех. Ах, ничего не было лучше такой жизни: сходить в монастырь к ранней литургии, побеседовать с отцом Ермом, поплавать в озере, поучить древнегреческий, полюбоваться на закат… Иногда приходили в гости дружественные монахи из монастыря — попить чаю, походить по саду, поесть фруктов, поговорить на всякие возвышенные темы. Хотя отцу Ерму это не очень-то нравилось:

— Что это они к вам повадились?

— Ну, это для них отдых, мы дружим, — отвечала я.

— Дружим, дружим, — ворчал он, — какие у монахов могут быть друзья, скажите на милость? А вы, как только они придут, попросите их дрова поколоть, воды принести, грядки пополоть — тут же поразбегутся. А еще лучше — предложите им вместе почитать акафист, помолиться — их сразу как ветром сдует.

Почему-то мне становилось смешно: службы в монастыре длинные, наместник то и дело их увеличивает пением бесконечных акафистов, у монахов, вслед за клиросными, еще и другие послушания следуют, так что они трудятся с раннего утра до поздней ночи. И что — придут они ко мне, а я им: а не почитать ли нам акафист, а, братия? Не порубить ли дрова? Не подвигать ли мебель?

— То-то, — вздыхал отец Ерм, — вам даже представить это смешно.

В общем, ездила я в мой белый дом постоянно. Дети мои его полюбили, как отчий кров. И даже когда я потом хотела было его продать, они бурно запротестовали:

— Ты что! Это же наша родина! Родовое гнездо!

Вот так. А продать я хотела, уже когда отец Ерм перебрался в Спасо-Преображенский скит — за семь километров от окраины Троицка, а от моего дома — за все восемь. И благословил меня останавливаться прямо у него в скиту, так что дом сделался мне как бы и ненужным. Просто времени не было в нем жить. Так, побудешь летом недели три, и все. А его к тому же стали разворовывать спившиеся соседи, бомжи, солдаты, сбегавшие в самоволку из военной части, которая находилась поблизости…

Первый раз налет совершил какой-то мелкий уголовник, только что вышедший на волю после отсидки. Он влез в дом, сложил в наволочки четыре сломанных будильника, старую “Спидолу”, растеряв из нее при этом батарейки, раскатившиеся по полу (по их местоположению потом в милиции “вычерчивали траекторию его передвижения по дому”), какие-то старые шмотки, в том числе и допотопную брезентовую курточку, доставшуюся нам от старого хозяина — в ней мой муж ходил по грибы. И вдруг вор этот наткнулся на початую бутылку спирта “Рояль”, которую тут же и изрядно пригубил. Он ее пригубил, а она его погубила. Потому что он вылез из разбитого окна вместе со своими битком набитыми наволочками да тут же и заснул мертвецким сном. Там его и застукала наша соседка Эльвира. Она позвонила в милицию, и его прямо с поличным перетащили в милицейский грузовичок. Однако вынимать его, спящего и пьяного, из грузовичка и заталкивать в отделение милиционеры затруднились: решили — пусть проспится, а потом своими ножками и дойдет. А он пробудился, обнаружил себя с тюками в милицейском транспортном средстве и, никем не охраняемый, дал деру. Но через день его отловили на ближайшем рынке — в пятидесяти метрах от милиции, где он пытался толкнуть мою прихотливую соломенную шляпку. Бедолагу повязали, вызвали меня давать показания, выяснилось, что он попался уже в третий раз…

Первый — это когда он вместе с местным ветераном войны пропил его медаль “за доблесть”. Ветеран на следующий день протрезвел и заявил на собутыльника — дескать, он сам эту медаль не пропивал, а тот мошенник снял у него доблестную медаль с груди и был таков. Второй раз — это когда он вышел на волю и предложил дамочке на вокзале в Троицке донести ее чемоданчик до автобуса. Та согласилась, однако он, ухватив чемоданчик, пустился во всю прыть, причем и она оказалась не промах и настигла его, прихватив по дороге милиционера. И вот теперь он гремел за четыре сломанных будильника и кучу ветоши. Я даже за него вступилась, дурака такого, но помочь ему уже было нельзя.

Ну и мои практичные дети говорят:

— Надо туда на зиму кого-нибудь поселить, пусть живет, греется, присматривает за домом.

Нашли мы поначалу какого-то старичка — русского беженца из Эстонии. Он сам к нам попросился на зиму. Вот и хорошо. Хорошо да не очень. Потому что по весне, когда мы приехали на Пасху, выяснилось, что он экономил дрова и поэтому топил по-черному. Беленькие отремонтированные стены и потолки были покрыты толстым слоем сажи. А кроме того, старичок был не дурак выпить — и не один, а в компании. Поэтому он созывал к себе всех соседей — и гундосого Пашку, и Кольку-колхозника, и уголовника Олегу, который сам себя называл именно что “Олега”, и черненького переломанного дядьку с усиками, похожего на постаревшего спившегося Чаплина и имевшего кличку Черт. И они славно веселились. Ну там подушки распарывали, холодильник “Морозко” толкнули. После этого мы старикашку выселили, привели к Кольке-колхознику: “Бери его себе!”. И они стали пить у Кольки.

После старичка нам нашли молоденького ясноглазого Славика. Его привел машинный мастер по прозвищу Мурманск, поскольку когда-то он морячил по северным морям.

— Славик — сирота, спортсмен, не пьет, не курит, работает учителем физкультуры в Троицком сиротском доме. Человек аккуратнейший. Каждое утро бегает в белых трусах.

Вот и хорошо. Взяли Славика. Но потом выяснилось: хорошо да не очень. После него в доме не оказалось: газового баллона, белой летней раскладной мебели, телевизора, стиральной машины “Малютка”, кофейника с кофемолкой, а также чашек, ложек, тарелок, чайника, утюга и электроплитки.

После Славика взяли Степу. Степа пел в монастыре на клиросе, но был, как бы это выразиться, болящим. Поначалу он приходил ко мне по весне и за три рубля вскапывал склон холма, потому что именно там у бывших хозяев располагалось картофельное поле. Он вскапывал и пел — бас у него был отменный. А как только получал от меня деньги, тут же садился в помойное ведро, полное грязной воды и очисток.

— Для смирения больно хорошо, — пояснял он.

Надо мне было еще тогда кое-что про него понять. Потому что и демоны ему повсюду мерещились, порой он даже начинал размахивать перед собой руками, разгоняя их. И вот, поселившись в моем доме, в недобрый час он увидал таковых в большом зеркале и кувалдой сокрушил супостатов. А потом они ему привиделись в печке, ну и ей досталось. Да и вообще они повсюду, оказывается, расположились в доме — на стульях, на диване, даже на подоконнике. Степа все и порубал. Одолел нечистую силу. И переселился к старой монашке — там спокойней. А дверь не закрыл. И тогда в дом понабились бомжи, которые там устроили свою уборную… Короче, надо было спасать дом, мою тихую обитель, уголок отдохновения, разоренное гнездо, родину моих деточек.

Вообще какая-то странная складывалась картина. Мой друг поэт Виктор Гофман даже советовал мне написать об этом рассказ: ведь чем усерднее я старалась сохранить дом, чем более надежных людей в нем поселяла, тем большему разору и надругательству он подвергался. Ему казалось, что это будет очень смешно…

Вот я и приехала в Троицк в смятенную последнюю неделю Рождественского поста. Наняла за пару бутылок Пашку, Олегу, Кольку-колхозника: они все вычистили после бомжей, вынесли лохань с мочой, осколки-обломки-очистки. Нашла мастера, который врезал мне новый замок. Починил стулья. Вставил стекла. Поправил печку. Обзавелась хозяйством: купила плитку-чайник-чашки-миски. Занавесила окна старыми шторами, которые привезла из Москвы. Красота! Сидела по вечерам, наслаждалась покоем и тишиной. Молилась на рождественских службах в монастыре. Разговлялась у Дионисия и даже у наместника игумена Иустина, заходила проведать и монаха Лазаря, который писал стихи. Нечаянная радость вышла из всего этого разоренья. Но пора было и честь знать: возвращаться из этого “Соловьиного сада” к своему “трудовому ослу”. А тут гроза возьми и грянь.

Постучался мне поутру в двери страшный мужик:

— Открывай, хозяйка. Свои! Сын я Марьи Ивановны, которая вам дом продала.

Ну, одного сына ее я видела, когда деньги за дом в Кохтла-Ярве возила, семьдесят тысяч. Алкашик такой, бедолага. А еще Марья Ивановна говорила, что у него есть брат-близнец, так тот и вовсе сидит. “Не понимаю, за что мне это, — причитала она, — сама я заслуженная учительница литературы, награды есть, а сыновья по кривой дорожке пошли”. И действительно, вот этот, который теперь пожаловал, на того алкашика, конечно, похож, но только покруче. Черный весь, глаза бегающие, узенькие, что-то жуткое в них. Говорит:

— Мы с мамашей и братаном никак увидеться не можем, сидел я в России, а они живут в Эстонии. Надо визу покупать, сложности… Ну мы и решили здесь с братаном свидеться. Приедет он сюда не сегодня-завтра, так я ему встречу в этом доме назначил. Ты уж уважь нас: поживем мы у тебя с братишкой пару-тройку дней, детство вспомним, попразднуем. Закуску сами купим, так что расходу тебе никакого. Ну и наших я тоже сюда позвал: Сеньку, Мишуру, Колымагу, Бациллу. Ребята они хоть и шебутные, а здесь смирно будут себя вести. Не боись. Ну, так мы придем.

Я в ужасе представила себе, как все эти пацаны соберутся в моем доме, будут здесь расслабляться, и содрогнулась.

— С какой стати! — запротестовала я. — Дом мы у вас купили, ничего мы вам не должны, люди мы для вас чужие!..

— Обижаешь, — спокойно сказал он и сплюнул. — Не надо обижать. Братки приедут, я их позвал, обещал их хорошо принять, а ты нам от ворот поворот. Нехорошо. Они не поймут. Всякое могут вытворить! Еще набезобразничают. Так что мы придем! — И он махнул огромной рукой.

Я побежала в монастырь. По дороге меня нагнал красный “жигуль”:

— Куда бежим? Садись, подвезу! — Мурманск распахнул дверь. Я ему тут же все и выложила про встречу братков в моем доме. — Не горюй! — успокоил он. — Раз они сидельцы, значит, ментов крепко боятся. А у меня кум Игорек — кто? Здешний мент. Мы его вызвоним, он их и повяжет. Так что не дрейфь. Буду я за твоим домом присматривать. А кроме того, предварительные меры примем, так что если они и сунутся — сами и пожалеют.

— Какие еще меры? — спросила я.

— Капкан можно поставить у самых дверей. На медведя. Ты, уезжая, пробки-то выключи, будет темно, они и не заметят. Р-раз в дом, а там их капкан — хлоп. Покалечит!

— На медведя это уж слишком. Очень уж кровожадно и членовредительно, — засомневалась я.

— На волка! — легко согласился Мурманск. — А то можно положить на стул ружье, нацеленное на дверь. Привязать веревку к ручке двери и протянуть ее через блок к курку. Дверь открывается — ружье стреляет, преступник падает. Пиф-паф-ой-ей-ей! А еще если подвести батарейку с напряжением в двенадцать ватт к огнетушителю, то он может взорваться и замуровать вошедшего в своей пене. А то можно ужей напустить, крыс, мышей, пауков ядовитых, тараканов с большой палец. Но — хлопотно. А то можно установить ревун. Ты входишь, он включается. Начинает реветь так, что ушные перепонки лопаются, на пять миль слышно. А то можно врубить софит в пять киловатт — ты входишь, он врубается, и ты слепнешь. Так немцев наши остановили на Курской дуге. Ослепили зенитными прожекторами, установленными на танках. Танки — в бой, прожекторы давай светить, немцы, слепые, бегут и падают.

Все это очень меня впечатлило, но показалось слишком уж капитальным. То немцы на Курской дуге, а то — бывший уголовник с корешами! Я обещала подумать и выбрать один из вариантов. Но он в любом случае обещал за домом присматривать. С этим высадил меня и уехал.

Встретила я у монастырских ворот послушника Клима Никифоровича — шофера наместника. Такой видный, осанистый, похож то ли на дореволюционного швейцара дорогого ресторана, то ли, с некоторой натяжкой, даже на сановника. Седые бакенбарды, борода. Доброжелательная уверенность исходит от каждой черты. Положительная основательность в каждом движении.

— Куда торопитесь? — вопросил он.

Я ему поведала про уголовника с братанами.

— Не бойся, — махнул он рукой. — Если надо, мы всем монастырем там засядем, тебя в обиду не дадим! Вот таким макаром, Господи Боже мой!..

Пришла я к отцу Дионисию, рассказала и ему. А он в ответ:

— Да ладно, это горюшко — не горе: если этот бандит появится, беги в монастырь, мы на него отца Матфея с ракетницами нашлем! А кроме того, у нас же Святки, праздник, а мы тут сиднем сидим. Давай сегодня придем к тебе с Лазарем и Иустином. Будем пить глинтвейн, рассказывать всякие страшные и веселые святочные истории, топить печь, а заодно и охранять дом от бандитов.

Вот как чудно вышло! Сели мы вечерком у меня дома за большой овальный стол, уставленный монастырскими яствами и кувшинчиками с горячим красным вином, — отцы Дионисий, Лазарь, Иустин-наместник да шофер его Клим Никифорович, сановитого вида старик, выпили по стаканчику. Праздник же у нас! Печка весело трещит, метель за окном воет, кажется, то и дело шаги за окном хрустят. И что ж? Нам не страшно. Рассказала я им про ревун, капкан и софит на Курской дуге. Про ядовитых тараканов и гремучих змей. Посмеялись, слово за слово, Лазарь с Дионисием решили, что пора перейти к святочным рассказам.

— Это может быть очень поучительно, — сказал монах Лазарь.

Иустин-наместник стал отнекиваться:

— Нет, — говорит, — никогда со мной на Святках ничего такого поучительного не происходило. Было, правда, одно совсем уж дурацкое приключение, серьезно изменившее всю мою жизнь, но из него никакой морали не извлечешь. И такое невероятное, что в него даже трудно поверить.

— Ну, тогда ты о нем только расскажи, а мы попробуем извлечь какое-нибудь назидание, — сказал рассудительно отец Дионисий.

Лазарь согласился начать, предварив свое повествование кратким описанием жанра:

— Во-первых, события должны происходить между Рождеством и Крещеньем, то есть на Святках по определению. Во-вторых, в рассказе должен быть некий элемент недоразумения или мистификации, и в конце концов недоразумение должно быть разрешено, а мистификация разоблачена.

Все задумались над своими сюжетами.

— И в-третьих, все заканчивается преображением жизни. Если этого нет, то это просто байка! — заключил он.

Все многозначительно переглянулись, дивясь серьезности задачи.

— Ну тогда ты и начинай, — сказал игумен Иустин.

— У меня есть сестра, — повел рассказ монах Лазарь. — Хоть и младшая, а очень строгая и требовательная, то есть требования к жизни у нее непомерные. Гордая такая девица. Самолюбивая. Сама к себе невероятные предъявляла претензии — и нос у нее длинный, и глаза маленькие, и ляжки толстые, и осанка дурная, и походка кривая. Сама же была прехорошенькая. Волосы белые, густые и длинные, глаза голубые огромные, кожа нежно-розовая, гладенькая… Так вот, самой большой гадостью ей казалось, когда кто-то говорил ей:

— Настенька, какая же ты хорошенькая!

Тут она просто взвивалась, считая это за издевательство.

— Ну да, — басом говорила она, — вон какая жирная, страшная!

Мечта у нее была преобразить себя до неузнаваемости — волосы свои шикарные обстричь “а ля тифоз”, покрасить в черный цвет, а на лицо очки надеть… Но мать чуть не на коленях перед ней встала, чтоб она этого не сделала. Вот такая у меня была сестра — была, потому что сейчас она очень изменилась. Ну а тогда казалось ей, что она не только такой неуклюжий жирный урод, но еще и что поет она плохо, и рисует отвратительно, у самой же и голос прекрасный, и слух, и способности к живописи. Но особенно несносна и придирчива была она к окружающим. Прежде всего, конечно, ко мне и к моим друзьям. И нецелеустремленные мы, и расслабленные, и вообще — дураки. Школьный друг мой Алеша, впрочем, зная некоторые ее особенности, частенько над ней подшучивал. Прежде всего — конечно же, отмечал, как она похорошела, на что она ужасно злилась и фыркала. Затем восклицал с удивлением:

— Как же ты похудела!

Тут уж она просто с места вскакивала и кричала, хлопая себя по бокам:

— Ты что! Посмотри, какая жирная! И вообще — хватит надо мной издеваться.

Тогда он переменил тактику и стал ей при встречах сочувственно говорить:

— Какая же ты все-таки страшненькая! Нос у тебя какой длинный, какие глазки маленькие — такие маленькие, такие маленькие, одного даже совсем будто и нет.

Но она и на это злилась, хотя, конечно, не могла не понимать, что он это говорит ей назло. И она ему что-нибудь в ответ такое выдавала — вредоносное. Так они и пикировались все время. Только все это получалось у них не смешно и даже не забавно. И я чувствовал, что они не то что недолюбливают друг друга, но просто даже и терпеть не могут. Во всем они вступали в противоречие, во всем друг к другу придирались, но она еще в разговоре с ним такой менторский тон взяла, словно это она нас старше на пять лет, училка такая.

Придет он ко мне, она тут же возникнет, влезет в нашу беседу, прицепится к слову и как начнет вещать, словно кто ее здесь спрашивает, сил нет. Поначалу она критиковала нас, почему это мы, сильные молодые мужики, сидим себе преспокойно на кухне, а не ведем борьбу с антинародным правительством. Люди в тюрьмах страдают, в лагерях — вон Сахаров в ссылке, Буковский в заточении, Солженицын в изгнании, а мы — в Москве. Было ей тогда лет четырнадцать. Она обещала, что к шестнадцати годам непременно вступит в какую-нибудь антисоветскую организацию, чтобы нам было стыдно. А Алеша ей назло говорил, что в партию запросится, раз такие самоуверенные маленькие училки-выскочки лезут в диссидентство.

Потом, лет в семнадцать, она покрестилась и сразу стала неистово так молиться, начиталась Игнатия Брянчанинова о молитве и задвинулась — конечно, духовного руководителя нет, в церковь ходит только свечки ставить — к исповеди не идет, не причащается, а только люто постится, ночами поклончики кладет да молится, в общем — вылетела она, что называется, в трубу: и мороз ей уже не страшен, у нее самой в солнечном сплетении огонь горит. А Алеша тем временем поступил в семинарию, духовно грамотный, пригожий, благочестивый. Пришел к нам как-то раз, а она ему — я-де в одном платье могу в лютый мороз ходить, что там твоя семинария, что там эти священники, которые с КГБ… А у самой нос красный — отморозила, пока по морозу раздетая шастала. Алеша как услышал ее речи, испугался, стал ее вразумлять:

— Да как же так, ты по своей воле, своим чином такие вещи творишь, ты ж в прелести.

Она его не слушает:

— Вот, — говорит, — вы Церковь и погубили, потому что не хотите собой жертвовать ради Христа. Надеетесь все на теплую одежду, на рукотворный жар, а у меня жар Христов.

А он ей:

— Да если бы у тебя и вправду был жар Христов, Серафим Саровский ты этакий, разве б ты нос себе отморозила, вон какой висит, красный. Точно слива.

В общем, опять брань, стычки, обиды, подергивание плечом. Потом, к счастью, она к какому-то старцу попала, он ее вразумил, запретил молиться больше положенного ее мирскому положению, благословил подыскивать себе жениха, готовиться создавать семью, поисповедовал, она стала причащаться, присмирела. А тут Алеша появляется. Им бы и помириться, посидеть рядком, поговорить о благочестии… А у него как раз был период, когда он вдруг стал подумывать о необходимости церковных реформ. Говорит:

— Надо богослужение на русский переводить, литургию оглашенных выкидывать — ибо где вы теперь видите оглашенных-то?

А она ему:

— Что-о? Я те дам реформы, раскольник ты этакий!

И опять пошло-поехало… Самое поразительно, что Господь их все время нос к носу сталкивал. То есть Алеша, как ни приедет из Питера — он там уже в Академии учился, — она всегда дома оказывалась. Притом что ведь порой по целым неделям пропадала — то в одном монастыре, то в другом…

Как-то раз они вместе вышли из дома и застряли в лифте. Два часа просидели, пока диспетчер их оттуда не вынул. Сидят в темном лифте, повисшем над бездной, и все о церковных делах переругиваются. Ну дальше уж я не знаю — сам ушел в монастырь. А у меня какие-то его книжки остались. Вот он ко мне в монастырь приезжает и говорит:

— Брате, очень мне те книги нужны. Когда ты в Москву собираешься?

А я ему:

— Никогда. А если тебе книжки нужны, заезжай к нам туда без меня, тебе сестра моя все отдаст, ибо девица при всех своих недостатках весьма благочестивая, и чужого ей не надо.

Вот он ей и позвонил, договорились о встрече. Но встретились случайно они еще в метро. То есть он садится в вагон, а там она. Вместе и поехали. Он ей так примирительно говорит:

— Знаешь, я понял, эти церковные реформы — один соблазн. Вон большевики еще пытались все реформировать, а ничего не вышло.

А она ему неожиданно:

— Так то большевики! Как они реформировали-то — огнем и мечом! А нам надо делать это мягко и грамотно. Потому что вера-то закоснела! Обросла суевериями. Надо народ религиозно просвещать!

И опять они заспорили. Так доплелись до подъезда. А там кто-то переезжает, что ли, лифт стоит открытый на каком-то этаже, холодильник выносят, телевизор. Он дверь даже подержал, чтобы все это вынесли беспрепятственно. Пошли пешком. Пока поднимались, она ему:

— Люди должны понимать, о чем они молятся. А им: непщевати вины о гресех. Чего-чего? В церкви поют: в память вечную будет праведный, от слуха зла не убоится. А старухи, знаешь, что слышат? В память вечную будет праведный, пастух козла не убоится. Пастух — козла! Она даже остановилась между этажами, чтобы перевести дух. — А это все твое извечное фарисейство — сам выучился, а народ — что, пусть в невежестве коснеет, в предрассудках? Да ты знаешь, что они считают Святую Троицу за собрание Христа, Матери Божией и Николы Угодника!

Постояли, постояли, снова двинулись вверх. Наконец пришли, а дверь в квартиру — распахнута. А там какие-то люди хозяйничают. Что-то все таскают, пакуют, опять таскают. Сестра даже подумала, не ошиблась ли она дверью, но нет.

— Переезжаете? — с удивлением спросил ее Алеша.

И тут она опомнилась:

— Воры! — произнесла она с большим удивлением. — Воры! — закричала снова, уже грозно.

Наконец и воры их заметили. Четыре человека. Схватили, скрутили, запихали в ванную, засунули в самую ванну, как они были, прямо в шубах, в зимних ботинках, связали веревками — спина к спине плюс заткнули затычку и включили горячую воду. А сами смылись. Но поскольку рты им не завязали, они могли еще продолжать беседу. И что же — они, будучи в узах, спина к спине, сидя святочным вечерком в низвергающейся горячей воде, ухитрились продолжать свои прения. Алеша даже пустился шутить:

— Ну, слава Богу, хоть ополоснусь с дороги!

А она ему поучительно:

— Жаль, до Крещенья еще два дня, а то было бы это купанье с мистической окраской, очистительное и от грехов, и кое от каких заблуждений…

А вода шумит. А ванна наполняется. А пар идет. А шубы намокают… А он ей:

— От каких таких заблуждений? Историю надо знать. Церковь живой организм. Она обновляется изнутри. Любые рациональные вторжения в ее жизнь приводят к расколам, ересям.

А она ему:

— Самые большие расколы и ереси — от невежества.

Вода уже наполнила ванну, шубы, в которых они были, набрякли, веревки намокли, и, кажется, только сейчас они заметили, в каком бедственном положении находятся. Вспомнили про сорок мучеников Севастийских, те, правда, в холодной воде сидели.

— Ну, ученый академист, где твоя молитва? — всхлипнула вдруг сестра.

— А ты, реформаторша, где твое упование?

Однако единодушно решили, что будут вместе молиться Матери Божией и Святителю Николаю — помощнику мореплавателей и вообще всех бедствующих на водах. Ну и запели “Царица моя преблагая”, “Не имамы иные помощи”, “Правило веры и образ кротости”. Сестра моя, повторяю, пела великолепно, сколько бы она сама себя безжалостно ни критиковала. Голос у нее сочный, сильный. Но и Алеша пел чудесно. Так они спелись с первой же молитвы, и потом голоса их звучали в изящной терции, то переплетаясь, то расходясь. Вода меж тем перехлестнула через край ванны и устремилась к новым просторам… Соседка снизу, на которую обрушились сии предыорданские потоки, помчалась наверх. Долго звонила в дверь, пока из-под той не появилась вода, наконец решительно толкнула ее, дверь и открылась, потоки ринулись на вошедшую, она завопила, выскочил сосед справа, ужаснулся, содрогнулся. И тут они услышали дивное пение. Два ангельских гласа вдохновенно взывали к небесам: “Заступнице усердная”, — раздавалось из ванной. “Богородице Дево, радуйся!” И даже “Во Иордане крещающегося Тебе Господи!”. Отважно ринулись на блаженные ангельские голоса и спасли, спасли сих пребывающих в узилищах… И что? Сестра и Алеша спустили воду, переоделись, вытерли полы, попили чайку с медом и продолжили пение. Вот так. Поют до сих пор. Трое детей уже у них. А он служит в московском храме. Особенно любит праздник Крещенья. Там есть такие стихиры: “Глас Господень на водах вопиет глаголя: приидите, приимите вси Духа премудрости, Духа разума, Духа страха Божия, явльшагося Христа”.

— Все есть, — одобрительно вынес вердикт Иустин, — и недоразумение, и разоблачение, и поучительность. И мораль. Всякую дурость человеческую просвещает Господь!

Этот рассказ “про ванну” сразу перебил мне историю, которую я собиралась рассказать. Была у меня историйка о том, как мы — еще до нашего крещения — с моей подругой Надюшкой, не замужней, но обремененной малым чадом, гадали на Святках. Какое-то было народное гадание — жечь на перевернутой тарелке свечой бумагу и рассматривать тень, которую откидывает на светлую стену оставшийся пепел. А кроме того — можно было спросить у свечи: “да” или “нет”. Если “да”, то она колебалась пламенем слева-направо, если “нет”, то вперед-назад. Не помню уже. Поскольку гадала Надюшка. Естественно, о своем замужестве, а я уже была замужем, и спрашивать мне, таким образом, было не о чем, поэтому я просто присутствовала, так как ей было “страшно до жути”.

Уселись мы около полуночи у нее на кухне, она достала из холодильника бутылку шампанского, чтобы мы с ней выпили “для куража”, но открыть мы ее так и не смогли, сколько бы ни прилагали усилий — сняли железную проволоку с пробки, а пластмассовая крышка все не поддавалась. Мы плюнули, оставили бутылку на столе, перевернули тарелку, и Надюшка принялась пытать судьбу, а я ее охранять от жути. Ну и сожгла она бумагу, та отбросила на стену тень, и нам показалось, что мы видим голову ковбоя в сомбреро.

— Ты точно думаешь, что это мужчина? — спросила она меня.

— Без сомнения, — заверила я ее. — Молодой мужественный мужчина с могучей шеей.

— Это будет мой муж? — спросила Надюшка у пламени свечи.

Свеча благосклонно направила свое пламя на нее, качнулась: “Да”.

— А он будет меня любить? — спросила Надюшка.

Свеча полыхнула в ответ: “Да! Да!”.

— А он будет богат?

Свеча опять встрепенулась: “Да!”.

— Очень богат? — спросила затаив дыхание Надюшка.

Свеча воскликнула на языке огня: “Да!”.

Надюшка удовлетворенно кивнула.

— А он будет меня содержать? — сглотнув от волнения слюну, обратилась Надюшка к оракулу.

Пламя заметалось туда-сюда, зашипело, словно хотело что-то сказать, но от волнения поперхнулось словами, и вдруг раздался страшный взрыв. Пробка из шампанского пальнула в лампу, лампа лопнула, пена залила весь стол, тарелка, на которой все еще помещался пепел, отбрасывавший на стену желанную тень, почему-то треснула, и горячий воск обжег Надюшкину нежную ручку.

Потом-то через много лет мы поняли, что пыталась нам сказать на своем наречье горящая свеча, пересылавшая флюиды бутылке шампанского! О чем зазвенела разбитая лампочка, о чем громыхнула тарелка! Надюшка действительно в скором времени вышла замуж за американца (ковбой в сомбреро). У него действительно была могучая шея — он был невероятно толст. Он был сказочно богат. Но безумно жаден. Тем не менее Надюшка все-таки заставила его себя содержать, хоть это продолжалось весьма короткое время. Потому что вскоре он с ней развелся. Но ей по американским законам что-то полагалось из его имущества. И она пришла в некую юридическую контору, чтобы взыскать положенное. Но там ей заявили, что поскольку он с ней развелся где-то в Гватемале, а там разведенным женам ничего не причитается, то и Надюшке рассчитывать абсолютно не на что. С тем она и ушла, вспоминая отчаянье прозревших эту ситуацию и авансом сочувствовавших ей святочных вещиц.

Но, конечно, моя история не годилась: такая высокая была поставлена планка поучительности. Единственное, что можно было из нее извлечь, так это назидание о том, что никак нельзя строить жизнь на основании корыстных земных расчетов. И поэтому я решила рассказать другой сюжет, о котором вспомнила в связи с предкрещенским “купанием”.

Одно время — совсем недолго — я работала в Маленькой газетке. Отпочковалась она от Большой газеты — идея ее создателей была в том, чтобы использовать то огромное количество не вошедших в Большую материалов, которые все же могут представлять интерес для читателя. Кроме того — Большая претендовала на респектабельность и серьезность, а наша газетка “Другие берега” могла себе позволить большую свободу и демократизм. При этом в нее можно было “слить” кое-какой занимательный компромат, расширить стилистические возможности, использовать ее пространство для рекламы и привлечь нового читателя. Газетка наша была всего в восемь полос, и делали ее еженедельно три женщины — главная наша Раиска, или Айка, занималась культурой, Лара — политикой и экономикой, а я была на всякой всячине — писала маленькие эссе и трудилась рирайтером, то есть переписывателем чужих статеек и материалов. Главной моей задачей было сделать так, чтобы у газеты существовал свой стиль и чтобы ее было читать интересно. Кроме того, в первом номере каждого месяца мы печатали церковный календарь и гороскоп, который нам откинули из Большой газеты, потому что ей, претендующей на респектабельность, заниматься таким низкопошибным делом было не по чину.

Гороскоп сочиняла для нас некая Аида — естественно, жгучая инфернальная брюнетка. И какими бы тупыми ни были принесенные ею тексты, отбояриться от самой идеи ее жульнических прогнозов было невозможно.

— Надо быть демократичнее, — говорил нам главный редактор Большой газеты, который стоял и над нами, вам неинтересно, потому что вы снобы, а люди читают. Они хотят верить, что их жизнь написана на небесах. Это их стабилизирует, утешает. А если вы считаете, что это чушь, ну так относитесь к этому как к фольклору, как к небывальщине, как к шутке, наконец.

И вот с этим-то гороскопом вышел у нас перед самым Новым годом прокол. Сделали мы чудный новогодне-рождественский номер — праздничный, радостный, оставили подвал для гороскопа, ожидая Аиду, сами сидели втроем, наводили последний лоск, вылавливая блох — как внимательно ни читаешь, а всегда какая-нибудь опечатка прокрадется. Из типографии нас уже поторапливали, а от нашей инфернальницы не было ни слуху ни духу. Айка то и дело названивала ей, но телефон все не отвечал. В самый последний момент, то есть когда уже нам грозили из типографии скандалом, Айка наконец дозвонилась, и простецкий старушечий голос ответил ей, что “у ей случилась срочная любовь” и что “звезды ей сказали, чтобы она летела на остров посреди окияна”.

Айка, не пощадив старуху, которая явно уж была тут “с боку припеку”, с бесполезной язвительностью крикнула:

— Как бы для нее это не кончилось звездопадом.

После чего наша главная обратилась к нам:

— Делать нечего, у нас пятнадцать минут. Делим год по четыре месяца на каждую и валяем кто во что горазд.

— Что-что? — не поняла Лара.

— Гороскоп сочиняем, невелика премудрость. У меня день рожденья в середине года, так я беру себе май, июнь, июль, август. Все. Села. Пишу.

И действительно — застрочила, не задумываясь, не поднимая головы. Лара взяла осень с декабрем. Ну а мне, таким образом, перепало все остальное. Ну, в феврале моя младшая дочь родилась. Я ей и написала нечто вроде пожелания: “Вы наконец поймете великий смысл послушания, вам откроется мудрость, несущая уважение к старшим”, и так далее. В марте родился мой муж. Для него я написала: “Вы умны и деликатны, добры и щедры, трепетны и ироничны, честны и порядочны. В этом месяце вы особенно почувствуете великую помощь и защиту небес”, что-то в этом роде.

Я стала вспоминать, кто из знакомых родился в январе, но вспомнила только начальника мужа — нашего главного из Большой газеты. Ну и поскольку он моего мужа постоянно третировал, унижал, завидовал, присваивал буквально все его журналистские и издательские проекты, а при этом еще и претендовал на дружеское общение, я и написала: “В этом году вам откроется вся фальшь вашего положения. Так бывает, когда человек находится не на своем месте. Вы словно увидите всего себя не таким, каким вы льстите себя представить и преподать, а, напротив, жалким, беззащитным, запачканным, дурно пахнущим. Не огорчайтесь! Это лишь лекарство от обольщения, но оно — к выздоровлению. Не все для вас еще погибло. Вы еще сможете обрести свое подлинное лицо, и оно окажется искренним и вполне симпатичным”.

А в апреле, я вспомнила, родилась Аида. Я ей и написала: “Наконец вы почувствуете раскаянье в том, что столько времени морочили людям голову и мошенничали. Не прячьтесь от этого покаянного чувства — оно откроет вам новые пути, и вы обретете новое поприще, которое позволит вам вспоминать о прошлом с легкой улыбкой и оттачивать на этих воспоминаниях свое чувство юмора”.

Типография уже рвала и метала, и мы, даже не читая друг другу своих прогнозов, все отправили в набор.

Номер вышел, Новый год настал, Рождество отпраздновали. Муж мне говорит:

— Слушай, тут у нашего Главного день рожденья. Он просится к нам в гости на дачу, обещает привезти с собой и выпивку и закуску. Как ты, не против?

Я кивнула.

И вот он приезжает с женой, притаскивает целую сумку провизии, вина, водки. Мы сели под мигающей елкой, разожгли камин, нажарили мяса. Только сели за стол, как во всем поселке вырубили свет — так у нас часто бывает, особенно зимой, электростанция ветхая. Зато у нас всегда есть запас свечей. Мы и зажгли сразу семь штук. При свечах и камине еще праздничней. Выпили изрядно — он, я и мой муж. А жена его не пила, потому что она была на эту ночь водителем. Мы именинника как следует поздравили, надарили ему подарков, напроизносили тостов, но и он себя нахваливал, даже сам по головке себя гладил, все рассказывал, какой он крутой парень, какие у него задумки, как он со знаменитостями “вась-вась”, особенно ему нравилась история о том, как он поэту Рейну известное слово из трех букв на свежевыкрашенном заборе нацарапал — такую совершил, как он это назвал, “постмодернистскую акцию”. Сам при этом смеялся, однако, сожалел, что поэт ее “не оценил”. Ну ладно. Пора было и в дорогу. Три часа ночи все-таки. Жена пошла греть машину, а он еще решил дерябнуть на посошок.

— За что я себя люблю, — сказал он, набрасывая на плечо богатую новую дубленку, — так это за то, что у меня всегда был нюх на все самое лучшее.

Наконец мы вышли в метельную ночь. На всякий случай я задула свечи, потому что одна из дач поселка сгорела именно в такую темную зимнюю ночь. Пока мы пировали, дорожку к дому замело, и ноги проваливались выше щиколоток. Мы простились с гостями, Главный уселся рядом с женой, и она дала задний ход, потому что среди наметенных сугробов развернуться не было никакой возможности — оставалась лишь узкая наезженная дорожка. Машина тронулась, проехала несколько метров и вдруг, заскрежетав, намертво села брюхом на заметенный снегом канализационный люк. Мы с мужем кинулись ее толкать, но она не поддавалась ни на сантиметр. Пришлось Главному присоединиться к нам. Он кидался на багажник с разбега и кричал жене:

— Рви! Рви!

Она неистово газовала, но машина не трогалась. Тогда мой муж попросил меня сесть за руль моей машины, которая стояла на несколько метров впереди попавшего в ловушку автомобиля, подкатиться к нему поближе и связал их буксиром.

— Рви! Рви! — закричал Главный, навалившись сзади всем своим грузным телом изо всех сил на свой автомобиль.

Я и рванула. Что-то крякнуло, хрустнуло, брямкнуло, и я почувствовала, что вытащила из снега улов. Да! Машина Главного сорвалась с места, но тут же раздался крик моего мужа, потом визг жены, я выскочила к ним, и увидела — о, ужас! — они стояли, нагнувшись над канализационным люком, с которого теперь была содрана крышка, а оттуда выглядывала мокрая страшная голова Главного. Они вытащили его, зловонного и несчастного, в самом что ни есть мизерабельном виде, и он побежал скорее домой — мыться. Но света в доме по-прежнему не было, на ощупь он пробрался в ванную, залез под душ. Почему-то газовая горелка была выключена, наверное, это я сделала машинально, выходя из дома, поэтому вода была ледяная, он вылил на себя нечто из бутылки, которая стояла среди прочих по краю ванной, но это, по закону подлости, оказалось не жидкое мыло и даже не шампунь, а косметическое молочко. Липкий, склизкий, жирный, дрожа от ледяного душа, он наконец кое-как вытерся крошечным полотенцем для рук, а мой муж, заметавшись по комнатам, отыскал для него в качестве сменной одежды голубую пижаму, поскольку Главный был весьма и весьма упитанным и низкорослым мужчиной, а пижамные брюки были, во-первых, на резинке, а во-вторых, достаточно короткие. Дал он ему и носки, и трусы, и свитер, и старую, чуть ли не со студенческих лет, широкую лыжную куртку-дутик, в которой иногда чистил во дворе снег, и ботинки, которые оказались Главному велики размера на три.

Я к тому времени уже зажгла свечи, и мы могли созерцать бедного гостя уже при свете.

— Закалился, — попытался пошутить он.

— Ведь Святки, — сказал мой муж, словно что-то этим объясняя.

— А у меня так на роду написано, — вдруг совершенно серьезно сказал Главный. — Так мне положено. По гороскопу. Там черным по белому и написано, что меня в этом месяце ждут большие потрясения, козни рока, но все кончится хорошо. Будет даже еще лучше, чем было. Просто так звезды сложились. Так что мне нужно сейчас затаиться и не вылезать. Да это в твоей же газете было, в “Других берегах” — кинул он мне. — Ты что, не читаешь ее?

Он пробежал мимо нас и выскочил к машине, которая уже выехала из ворот.

— Как ты думаешь, он теперь будет мне мстить за то, что я был свидетелем? — спросил мой муж.

Но я твердо ответила ему:

— Никогда!

И была права.

На следующий день в редакцию ворвалась разъяренная Аида:

— Кому вы заказывали гороскоп? Кто его составлял? Кто это мне напророчил крах в моем деле?

— Один очень маститый и мощный астролог! — ответила Айка, явно струхнув.

— Мастер астрологии, маг и волхв, — серьезно подтвердила Лара.

— Да это же шарлатан, как вы не понимаете? Вас надули! — завопила она.

— Что ж ты тогда так волнуешься, если все это шарлатанство? — спросила я.

— Так он меня приговорил! Ты понимаешь! Тем, что он написал о крахе профессии, он зарядил слово дурной энергетикой, и она все мне разрушила! Я чувствую, что я внутри — пустая! Живите как хотите, — больше я с вами дела не имею, ничего вы от меня больше о себе не узнаете!

Хлопнув дверью, она удалилась. Кто-то сказал нам, что она подалась в риэлторы. А гороскопы в нашей газете с тех пор пропали. Вместо них мы стали печатать всякие незамысловатые демократичные кулинарные рецепты. Впрочем, это продолжалось недолго, поскольку и саму нашу газету вскоре прикрыли. А мой муж ушел из Большой газеты, и Главный никогда больше не выражал желания праздновать с нами свой день рожденья. Вот такая история.

— А мораль? — разочарованно спросил отец Иустин.

— По вере вашей да будет вам, — четко отрапортовал Лазарь.

Ну, коли так, — сказал игумен Иустин, — я вам тоже расскажу святочную историю и про день рождения, и про начальство. Потому что эта история резко переменила мою жизнь и повернула мой путь к монастырю. Дело было так. Родители мои, вы знаете, работали в Америке. Папа занимал изрядную должность в русском посольстве, но и мать там служила при культурном атташе. Меня они тоже чаяли видеть на дипломатическом поприще. Вот я и поступил в МГИМО. У нас, кстати, много училось детей работников МИДа, коллег и сослуживцев моих родителей. Такая золотая молодежь собралась у нас на курсе. Покупали продукты в “Березке”, устраивали пирушки. Виски, диски, джинсы, шмотки, кэмел, фарца, девочки, дэнс, покуривали марихуану, были такие, что и покруче, — кололись. Родители у кого где — за границей, квартиры пустые, флэт с дринком.

Подружка у меня была на курсе, дочка нашего посла в Австрии. Жила она с какой-то бабкой, нянькой, теткой, я у нее дома никогда не был. Так вот. Дело было во время зимней сессии. Числа десятого января. Шел я к ней на день рожденья. А поскольку она на Новый год упала и вывихнула ногу, нес я ей в подарок трость прошлого века с массивным набалдашником в виде головы орла — родители эту вещицу когда-то купили на блошином рынке в Париже.

Настроение у меня было тяжелое, голова мутная, поскольку в этот самый день я завалил экзамен по международному праву у Коловратова, он же был и нашим деканом. Родители меня предупреждали, что он очень склизкий и подлый тип, может подножку подставить, темную устроить — они его знали чуть ли не со своего студенчества. Вроде бы он даже когда-то ухаживал за моей матерью, но получил от ворот поворот, а потом повсюду рассказывал о ней всякий гадости. Короче, они меня просили, чтобы я сдал этот экзамен как-нибудь незаметненько, прополз перед Коловратовым, как уж, прошмыгнул, как заяц, отлежался в иле, как пескарь.

Но не удалось. Взял он мою зачетку, прочитал фамилию, вперил тяжелый взор, пожевал губами — ясно было, что так просто мы с ним не расстанемся. Забросал меня вопросами, каждое мое слово комментировал:

— Чушь-вздор-бред-ересь-понос. — Влепил “неуд”. Даже улыбнулся сладко: — Пошел вон!

Итак, иду я метельным вечерком к подружке, несу эту парижскую трость, стараюсь в землю ее не тыкать. Не опираться, чтобы она не выглядела траченой. Напротив, даже завернул ее в бумагу и лишь в подъезде эту обертку скинул, взял трость наперевес, ищу нужную квартиру — а жила она в высотке на Котельниках — там многие мидовцы в ту пору обитали. Звоню в дверь, в руках трость, шляпа на лоб надвинута, черное длинное пальто из кашемира, воротник поднят, тяжелый шарф вокруг шеи, половина лица в нем утопает. Байронический герой. Человек-маска. Что-то такое романтическое в облике. И вдруг — нате вам, открывает мне Коловратов. Пригляделся ко мне, узнал:

— Ах, это вы, Азаров!

И вдруг как шарахнулся, как дунул вглубь квартиры. Я сообразил — наверное, он с ее родителями знаком, она у него в институте — блатная, он друг семьи, благодетель, его тоже на день рожденья позвали, а меня он здесь увидеть не ожидал. Я палку наперевес и за ним — видимо, хромая именинница сама дверь открывать не выходит, пребывает где-то на кухне или в комнате со своей ногой, а он мне путь к ней указывает. Ну, я за ним. А он шустро так — прыг в комнату и дверь закрыл. Я в эту дверь, а он припал к ней всем весом и не открывает. Это меня возмутило. Ну, хорошо, ты профессор, декан, я у тебя двойку получил, ты за моей матерью приударял двадцать пять лет назад, но меня ведь тоже на день рождения позвали, пусти!

Приналег я на дверь, она слабо так поддалась, я ногу просунул, плечо, палку туда устремил, шарю ею вокруг, ботинок его нащупал, заработал тростью, как рычагом, наконец дверь открылась, а он от меня — за кресло, а я за ним. Зачем? Понятия не имею. Просто, раз он от меня прячется, я хочу узнать, с какой целью. Где хозяйка? Где бабка? Где тетка? Где нянька? Где остальные гости? Что происходит? Приближаюсь к нему — как был, шляпа на мне, шарф, длинное пальто, а он как в меня кувшин с журнального столика метнет, как кинет в меня подсвечник, как вмажет пепельницей. Сумасшедший какой-то! Родители меня предупреждали — склизкий тип, подлый, подножку может подставить, но чтобы тяжелыми предметами целиться… Положим, кувшином он промазал, подсвечником промахнулся, но пепельницей прямо мне в плечо угодил, убить хотел.

— Вы что! — возмутился я.

— Не приближайся, Азаров! Не приближайся! Или и впрямь убью или милицию вызову, упекут тебя на десять лет без права переписки.

— Что это вы раскомандовались! — возмутился я. — И вообще — где все?

— Какие все? Что, будет еще кто-то?

Я говорю:

— Конечно, народу позвано много! Сейчас все будут. Кто-то, наверное, уже пришел, тут где-то гужуются.

— Так у вас банда!

Он схватился за сердце, пятясь к окну, и вдруг схватил большой цветок в горшке, раскачал его, чтобы кинуть — смотрю, прямо в голову мне метит. Я двумя прыжками к нему и бах палкой по руке, бах по другой, он горшок выронил, сам упал на ковер, дует на руки, видно, сильно я его по пальцам хватил, говорит:

— Пощади меня, Азаров, не убивай! Я тебе в любой момент оценку исправлю! “Отлично” тебе поставлю, только не трогай меня.

— Да плевать я хотел на вашу оценку, — сказал я, таким он гадливым мне показался, жалким, плюнуть в него захотелось. Тут уж я шляпу снял, шарф размотал, пальто расстегнул. — Где все-то?

Он говорит, морщась, но и заискивая:

— Ваши еще не появлялись. Но если появятся, скажите им, что мы с вами уже разобрались. Уладили, так сказать.

“Эх, думаю, жаль, у меня с собой зачетки нет, заставил бы его тут же “неуд” переправить, раз он такой трус оказался”.

— Где же все-таки именинница? — спрашиваю его.

— Что вы имеете в виду? — подобострастно откликается он, а сам уже потихоньку поднимается с пола. Тут я и называю ему мою подружку. Он уставился на меня, потом ударил себя по лбу, сел в кресло, развалился, даже виски из бара достал, налил, выпил и неторопливо так, совсем уже другим тоном говорит: — Так она прямо подо мной живет. Вы квартирой ошиблись, Азаров. Пойдемте, я вас провожу. И выпровожу.

И повел темным своим коридором, только за порог меня выставил да как даст мне сзади чем-то тяжелым по башке, да как заорет:

— Я тебя сгною, сволочь! Ты завтра же у меня из института вылетишь!

И захлопнул дверь. И правда — чуть ли не на следующий день выгнали меня за хулиганство, неуспеваемость, моральное разложение — что-то такое. А меня весь этот вечер на дне рожденья мутило, голова кружилась, потом я шмякнулся в обморок. Вызвали “скорую”, отправили меня в больницу, оказалось, сотрясение мозга, пролежал я целый месяц — кровать к кровати со старым священником. И он меня просвещал. Что вы думаете? Когда я вышел из больницы, то сразу и покрестился, по монастырям поехал, решил в семинарию поступать. Но меня из-за родителей не приняли — не положено тогда было, чтобы дети дипломатов становились попами. А родители скандалили, пробовали меня восстановить в институте. Разведали, что именно Коловратов меня травмировал, хотели заявление в милицию писать, судиться с ним, но я сказал — я не в претензии к нему. Напротив, я очень даже ему благодарен. Не будь его, не сидел бы я сейчас в монастыре, друзья, а томился бы мелким чиновником где-нибудь в Зимбабве, — закончил свой рассказ Иустин.

— Так что вот вам иллюстрация того, как Хозяин “собирает где не сеял”. Все может сделать орудием нашего спасения, — заключил он.

Ну, тогда и я расскажу про начальство, — начал отец Дионисий. Тяжко вздохнул и обвел нас томным жалобным взглядом. — Жил-был некий иконописец, монах. И был над ним некий владыка, скрывающий по своей великой скромности свое христианское милосердие так далеко или так глубоко, что бедному иконописцу все никак не удавалось его обнаружить. Одно слово — владыка бедного иконописца СМИРЯЛ. Пожертвует кто, повторяю, бедному иконописцу деньги на покупку ли полудрагоценных камней, из которых трут краски, на постройку ли новой, более обширной мастерской, владыка имиже весть судьбами, то есть “духом”, тут же об этом прознает, вызывает иконописца к себе и вопрошает:

— Правда ли, чадо, что к тебе поступили немалые средства?

— Правда, владыка, — признается монах, — только не то что они немалые, а при иконописных работах вполне даже могут быть обозначены как весьма умеренные и даже скудные.

— Так что же ты, — восклицает владыка, — неси их сюда. Разберемся!

И что же: бедный иконописец, стеная и рыдая, дрожащими руками выкладывает перед владыкой приношения. Как он ни пытался его задобрить и насытить, ничто не помогало. Напишет он новую икону, а владыка нагрянет и похвалит: “Хорошая икона”, — да и заберет себе. А иконописцу с ювелиром надо расплачиваться, долги у него, ювелир ему уже и отказывает ковчежец сделать в иконе для мощей, камушков не дает, совсем плохо. Кисти ветхие, пооблысевшие, иконы золотить нечем. Стал он даже порой отвечать своему владыке не без дерзости, например, тот спрашивает его:

— А почему у тебя, чадо, святители совсем на себя не похожи?

А иконописец ему отвечает:

— Так вы мне так платите, владыка, что на них и лица нет. Будете побольше платить, сразу сделаются похожими.

Но на владыку ничего не действовало. Налетал он на иконописца, яко коршун на гнездо горлинки, и всех детенышей уносил в горехищном клюве. А был у иконописца в мастерской волнистый попугайчик в клетке. И вот уедет владыка, а иконописец сядет перед попугайчиком, посмотрит на него и пожалуется:

— Владыка как приедет, так ограбит. Берегись, попка, владыку!

Были у сего владыки по всей епархии свои резиденции — в городе, в живописном лесочке, на берегу озера, на излучине реки, чтобы он мог в любое время поменять обстановку и скрыться в молитвенной тишине от назойливого мирского шума, отравляющего епископскую жизнь. И владыка украшал сии резиденции иконами сего иконописца, так что даже один раз повез его в новый дом и попросил просчитать размер икон для будущего красного угла. Иконописец все там ему сделал как подобает, иконы написал, постарался, чтобы они были выдержаны в едином стиле, разметил, заказал еще и плотнику своему деревянный резной аналой, да еще и пожертвовал на него старинную Псалтирь. Ну, все, подумал, теперь ублажил я владыку, он и оставит меня на какое-то время в покое. Но тщетны оказались его надежды.

Через какую-то там неделю появляется владыка у иконописца и заказывает ему целый иконостас для своего подворья, а заодно и падает взором на маленькую изящную икону, которую иконописец предназначал своей матери ко дню Ангела.

— Хорошая икона, — похвалил владыка.

Но тут иконописец уперся:

— Это родительнице моей, маменьке несравненной к именинам, — скромно произнес он.

Но владыка повторил свое:

— Давай сюда. Как-нибудь разберемся.

И иконочку ту чудную забрал. Иконописец впал в вящее искушение и, как про него стали сказывать в монастыре, “на стену полез”, то есть забросил иконы, а принялся осваивать фреску. Фреску же только со стеной вместе утащишь, так что никакого с нее прибытка для стороннего человека. И так лазал иконописец на стену и фреску уже вполне и усвоил, и полюбил, и на владыку перестал роптать.

А тут у владыки — беда. На Рождество приехали на хутор, близ которого была любимейшая владыкина резиденция, городские. Стали в честь господского праздника петарды взрывать, устраивать фейерверки и подожгли владычный дом. Пожарные далеко, Бог высоко — сгорел дом дотла. Весь, до самого основания, как спичка полыхнул да и пал на землю развеваемым по ветру пеплом. Но вот чудо-то — красный угол с иконами да аналой с древней Псалтирью стоят себе как ни в чем не бывало — целехоньки. Легкий снежок их кропит, звезда на них льет голубоватый свет и во всей красе являет их миру. Тут владыку суеверие пробрало, кто-то ему сказал, может, из лести — видно, святой человек все это устроил, владыка, — полагая, видно, что это он сам себе все тут прилаживал, и надеясь этим ему угодить. А это — иконописцевых рук дело. Ну, владыка, по всей видимости, и решил, что неплохо бы ему обезопаситься капитально — то есть во всех своих резиденциях установить такие красные углы и укрепить стены фресками этого иконописца. Приехал к иконописцу, говорит:

— Хорошие у тебя иконы, молитвенные, и огонь их не берет, и вода не мочит.

Иконописец прослезился, подумал, что владыка, может, умягчился, просветился, дух кротости тронул сердце его, милосердие в нем приоткрыл, умиленный такой, пресветлый. Может, вразумился он, увидел тщетность своих былых попечений — вон оно, имущество-то, как ветошь сгорает в одночасье, а Бог — вечен. Может, думал, к особой духовности он повернулся. Постояли они так друг против друга, как брат с братом — оба ведь монахи, иноки, жители иного мира, посмотрели друг другу в глаза. Минута такая трогательная, торжественная. А тут попугай этот из клетки:

— Берегись, попка, владыку! Грабеж! Грабеж!

Владыка услышал, побелел, позеленел, благость с него сразу вся спала, напрягся он, спрашивает:

— Что это у тебя за супостат такой, кто его научил таким мерзостям?

А попугай в ответ:

— Грабеж! Грабеж! Владыка! Берегись!

Ну, владыка откашлялся, огляделся, увидел, что несолидно ему откликаться на злобствования неразумной твари, которая, по грехам человеческим, всуе мятется, и сухо так говорит иконописцу:

— Хотел я тебе почетное задание дать в главной епархиальной резиденции, но, вижу, ты пока недостоин. Тварь бессловесную ругаться научил, бесословить… Вот покайся, помолись, исправься, тогда, может, ты и сподобишься получить от меня приглашение. А пока и не проси, и не рассчитывай ни на что!

С тем и укатил, величавый. А иконописец возблагодарил Господа и воссел с христолюбивыми друзьями славить Господа и пить вино, потому что оно веселит сердце человека.

На такой торжественной ноте закончил свой рассказ Дионисий.

— Так что может Господь и через неразумную тварь учинить свое святое заступничество! — вывел он.

Все воззрились теперь на Клима Никифоровича.

— Как, и я должен поведать? — испугался он.

— Давай, Никифорович, — повелительно кивнул Иустин.

Никифорович задумался, возведя очи горе.

— Вам какую? — наконец вопросил он, — мистическую или игровую?

— Конечно, мистическую, — откликнулся игумен Иустин. — Какие уж тут игры?

Ну, значит, так, — начал Никифорович. — Мистическая. Про черного кота. Был у меня черный кот. Звали его, как фараона египетского, Рамзес. Жена души в нем не чаяла — умный был, рассудительный и какой-то мистический. Смотрит так, словно все про нас с женой знает — мудрость какая-то египетская в глазах. Из дома никуда не отлучался. Солидный, степенный. Сам ласкаться никогда не придет, выжидает, когда ты его позовешь. Вкушает пищу с достоинством, не торопясь, не чавкая. Вот таким макаром, Господи Боже мой. Уехали мы с женой как-то в санаторий, а соседу дали ключ, чтобы приходил кота кормить. Живем в санатории день, живем два, живем три. А жене неспокойно. Мается она — как там кот. Наконец, приснился он ей. Она говорит:

— Ой, не могу, надо домой ехать, что-то неладное там с Рамзесом.

Я говорю:

— Что ж неладное? Сосед его там кормит самым лучшим. Покой у него дома и приволье. Пусть от нас отдохнет.

А она:

— Нет, надо, Никифорович, ехать. — В общем, выпроводила она меня: — Съезди, — говорит, — на денек, проведай кота и опять ко мне.

Поехал. Вхожу — в доме порядок, все на своих местах, а кота — нет. Стал я его кликать, искать, шкафы открывать — нет как нет. Отчаялся — чуяло женское сердце беду. Сел на кухне на табурете, расстроенный, вот таким макаром, Господи Боже мой, отчаиваюсь. И вдруг вижу — из-под кухонного шкапика кусочек черного хвоста выглядывает, самый кончик. Полез я с радостью под шкаф — точно: там черный кот забился, лежит, глаза в темноте горят. Я его кое-как достал, на руки взял, только гляжу: черный кот да не тот. Не тот и все. И тоже черный. Наш был выхоленный, аккуратненький, а этот — хоть и в два раза больше, огромный такой, но весь облезлый, тощий, зубы страшнейшие, клыки желтые, и перха какая-то с него сыплется, и мокреть по всей спине — вроде парши. Смотрит на меня этот кот-оборотень и страшным хриплым голосом пробует мяукать. Вот таким макаром, Господи Боже мой. Жуть меня охватила — как так, оставляли мы одного кота, а тут другой. Побежал я к соседу вопрошать. А сосед отнекивается:

— Нет, — говорит, — это самый ваш кот и есть.

И ни с места. Как так? Вернулся я домой, стал снова кота рассматривать с разных сторон и явственно увидел, что это совсем даже другой, абсолютно нечеловеческий кот, может быть, даже хищный, потому как огроменный, облезлый и с клыками. Вынес я его на улицу, по всем подъездам поразвесил объявления: “Пропал прекрасного вида домашний черный кот Рамзес. Кто найдет и вернет хозяевам, получит большое вознаграждение”. Через полчаса мне звонок:

— Поздравляем: ваш котик нашелся. Он в подвале. Когда можно зайти за вознаграждением?

Зашли, я вознаградил, показали мне подвал, полез я в него, в темноте глаза горят, мяуканье слышится, хриплый голос. Поймал я кота, вынес его на свет — тьфу, а это опять тот перхатый. Выпустил я его обратно в подвал, где он, видно, подыхать задумал, и пошел домой. Тут опять звонок:

— Вы котика искали? Мы нашли. А какое вознаграждение?

Я отдал вознаграждение, меня повели в подвал, оттуда вновь выглянули безумные уже бесцветные глаза: что вы меня беспокоите? Что вам от меня надо? Я вернулся домой. Опять звонок:

— Ваш черный котик?

Я спросил:

— Где, в подвале?

Бросил трубку. Наконец, около полуночи позвонили, сказали:

— Нет, не в подвале. Он тут, мы держим его на руках, пушистый.

Не веря уже в удачу, я выбежал на улицу. Женщина держала в руках нечто, завернутое в тряпку. Я вознаградил, развернул — там была маленькая черная кошечка с белой грудкой. Я подумал даже — не взять ли ее вместо Рамзеса, но все-таки выпустил ее в снег. Отчаявшись, обошел вокруг дома, все звал:

— Рамзес, Рамзес!

Зашел в соседний двор, перешел через улицу к палисаднику, покричал: никого. Вот таким макаром, Господи Боже мой! Решил возвращаться домой. И вот тут, наконец, НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ЧЕТЫРЕХ ДОРОГ ко мне подошел странный заросший щетиной человек. Бродяга, должно быть, такой оборванный у него вид, такие затравленные бегающие глаза. Он подошел и спросил:

— Не хотите ли купить у меня кота?

Я даже испугался, такой безумный был весь его облик, так зловеще звучал вопрос. И тут он вынул из-за пазухи моего кота. Сомнений быть не могло — это он, Рамзес.

— Сколько? — стараясь особенно не выявить своей радости, спросил я.

— Рубль, — ответил он. — Всего рубль.

— Возьмите, вот у меня трешка! — протянул я.

— Нет, — ответил он. — Мне нужен рубль, ничего больше.

— Но у меня нет, возьмите три.

— Нет, или рубль или ничего.

Я полез в карман, там было много мелочи, я стал собирать серебро.

— Нет, — прервал он меня. — Рубль целиком или ничего.

И отвернулся, чтобы уйти, унося моего кота. Наконец я добрался до кармана брюк и там нащупал крупную серебряную монету — рубль.

— Гражданин, — нагнал я его. — Вот, берите, давайте сюда кота.

Он взял деньги, хмыкнул, положил их в карман и быстро удалился. А я принес кота домой и дал телеграмму жене, что кот жив и здоров. Вот таким макаром, Господи Боже мой. Вот и все.

— Как все? — обиделся Иустин-наместник. — А где же мистика?

— Вы не поняли? — удивился Никифорович.

— Нет, — вздохнул отец Дионисий. — Кот пропал и нашелся. Сплошной реализм.

— Так это же лукавый его мне продал! Такое поверье — надо найти черного кота и продать его в полночь на Святки на перекрестке четырех дорог за рубль. И этот рубль будет неразменным. То есть ты его тратишь, а он прибывает. Вот таким макаром, Господи Боже мой! Что, не знали?

— Ты все перепутал, Никифорович, демонолог! — засмеялся Лазарь. — Не лукавый продает кота, а он его покупает. Поэтому-то и рубль его — неразменный. Иначе зачем простому смертному отдавать лукавому свой неразменный рубль ночью, на перекрестке, за своего кота?

— Действительно — зачем? — удивился Никифорович. — Так это он, что ли, принял меня за черта?

— Выходит, он. Еще и ругал тебя, должно быть, когда потратил твою монету, а она не возобновилась, — вздохнул отец Иустин. — Но в чем же поучение?

— Поучение? — Никифорович захлопал глазами. — Не знаю, вам видней, вы — наместник.

Иустин пожал плечами:

— Лазарь, может, ты растолкуешь?

— Изволь. Мораль в том, что если не вступать в контакт с нечистой силой, а заниматься своим делом, то она тебе и не повредит. Вон Никифорович — добыл для жены любимого кота и утер ее слезы. А если бы он вовремя разгадал эту чертовщину с перекрестком четырех дорог и с неразменным рублем, то, может, кот представился бы ему каким-нибудь оборотнем и причинил ему много бед.

— Он и так причинил, — грустно вздохнул Никифорович. — Потому что, оказалось, пока я за этим котом ездил, жена в санатории завела себе друга, а у него на шерсть аллергия. И кот ей не понадобился. Квартиру себе отсудила. Вот таким макаром…

— Так все же хорошо, вы же теперь в монастыре, — Лазарь попытался было эту историю тут же и перетолковать на другой лад, но час был уже поздний, и поэтому все махнули на его новую экзегезу рукой, согласившись, что и прежняя была вполне хороша: делай то, что возложено на тебя Богом, и в диалог со злом не вступай…

**II**

На следующий день я твердо решила уехать домой — ну сколько же здесь сиднем сидеть, карауля дом? Позвонила с утра пораньше моему мужу в Москву — он недовольно заметил, что мои каникулы изрядно подзатянулись. Не понимает он, с чем я тут сражаюсь, за что бьюсь. Да, может, этот дом — какой-нибудь будущий монашеский скит, может, когда к власти вновь придут безбожники, разгонят монастыри, только тут и возможно будет создать потайную монашескую обитель! Может, только тут и услышишь акафист!..

С другой стороны, раз этот бандит не появился в назначенный день, может, он и передумал встречаться здесь с друзьями и родственниками, может, другое место нашел для встреч? А кроме того, мои дружественные монахи обещали о нас молиться, а Никифорович так даже сказал, что будет каждый вечер к нему подруливать и, если что не так, даст знать в монастырь и оттуда прибудет целая группа дюжих послушников и паломников. Ну и наконец Мурманск вызвался “держать руку на пульсе” и в случае чего призвать своего кума — “мента”. Даже матушка Харитина согласилась подходить к дому и заглядывать в окна, нет ли там каких безобразий. А соседка Эльвира успокоила тем, что “кто-кто, а она первая заметит что-то неладное и забьет тревогу”. Так что все у меня в Троицке было “схвачено”, повсюду были расставлены мои соглядатаи и защитники. Да, было у меня такое сомнительное свойство — всех окружающих втягивать в бурный водоворот моей жизни. Еще и матушка Харитина забежала перед самым моим отъездом:

— У меня тут Валя одна живет — паломница: девка положительная, дюжая и решительная. Говорит — надолго приехала. Хочешь, посели ее у себя, все будет спокойнее.

Привела она эту паломницу — суровая, строгая, решительная. Такая не спасует и перед бандитами… Прямо так и сказала:

— А я их не боюсь — Бог не любит боязливых. Я их — крестным знамением, вот так, вот так.

И она четкими фиксированными движениями перекрестила вокруг себя воздух. Но особенно меня успокоило то, что она оказалась преподавательницей сопромата в каком-то техническом вузе, то есть, значит, была большим знатоком ухищрений любого сопротивляющегося материала.

— Я могу здесь жить долго — хоть до первой недели февраля. Сейчас же каникулы, — добавила она.

Я отдала ей ключи, показала, где спрятаны запасные — в старой галоше, а галоша в бочке для воды, а бочка для воды перевернута и стоит у входа. Пошла попрощаться с монахами. Призвала к себе Ангела-хранителя и — домой.

Жалко, конечно, покидать этот дом — обитель лучших дней. Увижу ли я его вновь? Не сожгут ли его пьяные мужики, не растащат ли по камушку? Каждый раз, уезжая, смотрю на него так, словно вижу в последний раз… Но что делать?

Из Троицка ехать надо сначала на автобусе до областного центра, потом — вечерним — девять тридцать — поездом до Москвы. Но решила я поехать загодя, чтобы купить купейный билет и успеть в мастерскую, где изготавливают железные двери и решетки на окна, прицениться и договориться, что я приеду через пару месяцев и воспользуюсь их услугами. Обовью дом железными прутьями, посажу его в клетку, запру, как сокровище, на замки. Пока стояла в кассе за билетами, очередь со всех сторон атаковал какой-то бомж: шапка-ушанка с одним опущенным ухом, ручищи красные: “Подайте Христа ради!”.

Но ради Христа я всегда подаю. Полезла в сумку, достала, похлопала его по плечу. Он обернулся… Лицо его вытянулось сначала в длину, потом — в ширину, потом — сжалось в комок. Он втянул голову в плечи…

Это был Ваня Шкаликов. Ваня Шкаликов — мой бывший студент. Ваня Шкаликов — молодой поэт… Мы еще писали ему всем институтом в милицию характеристику, что он — надежда России и его нельзя сажать. Я сама составляла эту бумагу, украшая ее цитатами из отечественной словесности: “Поэт в России больше, чем поэт”, а также “Поэт всегда прав”…

— Вот, — сказал он, виновато хлопая голубыми глазами и топорща рыжую клочковатую бороду, и развел руками, — докатился… Был непутевый, а стал совсем пропащий…

И утер слезу.

…Он все время вляпывался в истории. Если он ехал в электричке, то его обязательно кто-нибудь убалтывал, подпаивал, обчищал и усаживал в поезд, идущий в противоположном направлении. Но и оставшись без денег, без пальто и без документов, он потом, сияя невинными голубыми глазами, уверял, что это были “хорошие, интересные такие парни-попутчики”.

— Я им читал стихи — им нравилось.

Если он шел пешком, к нему обязательно кто-нибудь приставал и, бывало, побивал. Один раз он обнаружил у кромки мостовой черную кожаную папку — видимо, она выпала из только что отъехавшей машины. В папке были документы, анкеты, была и визитная карточка на имя какой-то женщины. Он позвонил по указанному телефону, назвал имя и сообщил, что нашел черную кожаную папку. Женщина эта несказанно обрадовалась, спросила, сколько он за нее хочет. Он удивился и сказал — ничего, просто вернуть. Она, тем не менее, пообещала его отблагодарить и назначила встречу у метро. Ваня ей тщательно себя описал и отправился выполнять долг честного человека, держа папку перед собой. У метро к нему подошли два бугая, попросили пройти с ними к машине, где его и отблагодарит хозяйка. Он с радостью пошел. Они завели его во двор и так избили, что его лицо весьма долгое время представляло собой сплошной кровоподтек. Но Ваня переживал не из-за этого, он недоумевал — за что?

А если его никто не бил, то он все равно попадал в какую-нибудь переделку. Один раз — в уличную перестрелку, правда, остался цел, другой — в автомобильную аварию: прямо перед ним автомобиль врезался в столб со знаком перехода, и столб упал возле Вани, лишь едва его не задев. Я даже не знаю, почему с ним такое случалось… Вид у него был вполне мирным, манера — благодушной. Сам он объяснял это тем, что над ним тяготело родовое проклятье, и поэтому он — непутевый, то есть “нет ему пути”. Но на самом деле, если приглядеться, он сам был какой-то, что называется, дурной: помани его пальцем — он пойдет за тобой, не спрашивая куда. Просто из “интереса жизни”. А кроме того — раз ты его куда-то ведешь, значит, право имеешь. Ваня любил подчиняться, он уважал любую власть, он считал ее “рукой судьбы”.

Пошел как-то раз в гости к сокурснице, а там у нее — дым коромыслом, благовония курятся, люди в красных накидках, музыка восточная… Она сама — тоже вся в пурпуре и с кровавой точкой во лбу.

— Ты чего это? — рассмеялся он, указывая ей на лоб.

Но она только приложила палец к губам, прошептала: “Подставь лоб”. Он думал, что она ему тоже поставит на лоб такую же точку, но она помазала его серой, покропила какой-то кисленькой водичкой, провела в комнату. Там было много народу, все сидели по-турецки, глядя куда-то в область собственного пупка, а в середине на журнальном столике возвышалось черное изваяние, злобное такое и страшное, длинный язык свисал, на шее ожерелье из человеческих черепов, в двух руках — человечьи головы, а в двух других — меч и нож. Ваня рассматривал его и поражался, а сокурсница с индийской точкой произнесла:

— Поклонись. Это богиня Кали.

Он поклонился.

Она сказала:

— Съешь яблочко. Это богиня тебе посылает.

И протянула ему сморщенное недопеченное яблоко. Он съел.

— Опять поклонись ей. Ты теперь — ее.

И вот Ваня с интересом рассказывал эту историю и весьма дивился, когда узнавал, что он, оказывается, прошел инициацию в секту богини смерти.

Я отвезла его к подмосковному священнику, потому что Ваня был как-никак христианин, и тот его поисповедовал, наложил епитимью и поселил у себя возле храма. Хорошо — лето, каникулы, живи, молись, радуйся, пиши стихи! Священник такой хороший — сам бывший писатель.

— Ваня, — сказал он, — тебе нельзя от храма — ни ногой. Пропадешь ведь. Это точно про тебя сочинили: “Ваня, Ваня, простота, купил лошадь без хвоста”. Лучше бы тебе — прочь из Москвы, от всей этой литературной среды. А вообще-то тебе нужна крепкая рука. Хозяйка тебе нужна волевая, положительная. Одним словом, спасет тебя разумная жена.

Ваня улыбался и согласно кивал.

Хорошо жил Ваня у этого батюшки — жаль только, недолго: пришла ему весточка, что отчим собирается ему подарить “запорожец” и просит приехать для оформления документов к нему в Опочку. А поскольку этот отчим всю жизнь его ненавидел и гнал, настраивая против Вани его мать, то это выглядело еще и как шаг примирения.

Священник ему и говорит:

— Ваня, зачем тебе “запорожец”? Сиди здесь, на месте, не рыпайся, опять попадешь в беду, опять получишь лошадь без хвоста…

Но Ваня сказал:

— Да я только туда и обратно: “запорожец” заберу, буду для храма в нем свечи и книги возить.

И уехал.

Приезжает, а дома никого и нет — ни матери, ни отчима. Странно как-то. Куда подевались? Ключа у него нет. Вспомнил он, что одна из форточек была со слабым шпингалетом, и если ее снизу поддеть, то можно было через нее открыть окно и проникнуть в дом. Что он и сделал. Возле входной двери он обнаружил крючок, на котором висел ключ. Он взял его, порылся в инструментах и крепко-накрепко приделал расшатавшийся шпингалет, чтобы никто не мог впредь воспользоваться его способом проникновения в дом. Тем паче — Ваня с удивлением это обнаружил, — что в нем завелось целое богатство: ковры, хрусталь, горка, телевизор с приставкой… Надо же как они разбогатели, пока его не было.

Ну, он посидел-посидел, стало ему тоскливо, решил он спуститься к киоску взять пивка с орешками. Нащупал ключик в кармане и — в путь. А у киоска — приятель:

— Ванек, какая встреча, надо обмыть.

Ну, купили того-сего, поднялись к Ване, посидели, приятель все глазами обшарил, осмотрел что как. Ване что-то в этом не понравилось, и он решил его побыстрее выпроводить. А приятель и говорит:

— Ванек, а проводи меня до общежития, а то меня развезло.

Ваня его и проводил, подпирая собой, потому что приятеля неведомо отчего стало шатать из стороны в сторону. Прямо в комнату завел, попрощался и — домой. Опустил руку в карман — а там пусто: ключа нет как нет. Явно это приятель вытащил, пока Ваня его пер на себе. Ну Ваня и вернулся. А приятель говорит:

— Не брал я твоего ключа и точка!

Делать нечего — через форточку домой теперь уж не влезешь, ключа нет, переночевать негде. Ваня затосковал. Лег на газон и приготовился спать. А тут — другой школьный дружбан появляется:

— Ванек, какими судьбами!

Поговорили: тот, оказывается, только-только с зоны вернулся, присматривается.

— А ты чего это на голой земле ночуешь?

Ваня ему все рассказал.

— А ну пойдем, — рванулся дружбан. — Сейчас разберемся.

Вломились в общежитие, стащили приятеля с постели, дружбан ему отвесил горяченьких, порылся в тумбочке, вытащил оттуда золотое кольцо, взял со словами: “Этим ты за ключ расплачиваешься” — и потащил Ваню в какой-то притон, где тут же это кольцо обменял на деньги. Они попировали, вспомнили школьные годы, Ваня, как водится, почитал стихи, и тут нагрянула милиция. Приятель настучал. Пришили им коллективное ограбление с избиением, посадили в КПЗ. На какое-то время Ваню оттуда выпустили — по нашему институтскому письму, да только это не пошло ему на пользу: у него тут же украли паспорт, наконец, стали приходить повестки — а он не ехал, скрывался то у подмосковного батюшки, то у кого-то еще — спасали его всем миром, умоляли сдаться в милицию, потому что его уже объявили в розыск.

На худой конец, я предложила ему еще тогда схорониться в моем троицком доме, купила ему туда билет, нарисовала план, как его отыскать, сказала, что подвал там битком набит картошкой, соленьями, вареньем, он было отправился туда, но так и не доехал; то звонил из Питера, то из Тамбова: какой-то попутчик его подрядил ремонтировать дачу, какая-то дама предложила на выгодных условиях выгуливать дога, какой-то молодой человек позвал поехать с ним в Среднюю Азию добывать яд гюрзы, так что он сворачивал с дороги и устремлялся за ними, пока, в конце концов, его не заловили на улице и запихнули обратно в КПЗ, где он провел чуть ли не полтора года… Именно столько ему и присудили, но выяснилось, что свой срок он уже отсидел. Он вышел на свободу и пропал. Никто не знал, где он, пока он не объявился передо мной со словами: “Подайте Христа ради”…

Итак, он сказал мне, улыбаясь:

— Докатился… Сплю где придется… То на чердаке, то на свалке, то в сарае, то в заброшенной избе. Мать с отчимом после посадки мне отказали от дома, потому что их сразу после моего приезда ограбили: все увезли — ковры, хрусталь, телевизор. А замок не взломали. Ключом открыли. Просто открыли и вошли. А в Москве появляться — батюшка не велел. Но все равно — жизнь здесь по-своему интересная. Стихи иногда пишу. Ребятам здешним читаю — нравятся…

Тут же прекраснейшая идея осенила меня: Ваня едет в Троицк, поселяется у меня, отдыхает душой, знакомится с Валентиной. Она ведь и разумная, и решительная, и положительная, и волевая. Одним словом, хозяйка. Но и он хороший ведь парень, симпатичный, добрый, талантливый. Он под ее руководством становится на добрый путь. Идет подрабатывать в монастырь. Летом может жить на то, что будет продавать фрукты и ягоды из моего сада. Пусть там молится. Пишет стихи. У него теперь крепкая семья, жилье, работа, творчество. А там — детки пойдут. Вот он — спасительный выход.

Что делать — такая у меня слабость: порой я очень люблю расписывать на много лет вперед чужие жизни… Здорово получается! Загляденье.

Все это я ему и выложила. Разумеется, смягчив про мои виды на Валентину и деток. То есть я, конечно, про нее упомянула и даже с намеком: мол, приглядись, не она ли? Но — скромно, ненавязчиво. Если не совсем уж дурак, то сам поймет. Нарисовала ему опять, как найти мой дом, вложила в руку ключ, боясь, что про перевернутую бочку и галошу он забудет — так плотно я напихала в его голову всякой информации — и про бандитов-уголовников, и про монастырь с монахами. Про все, про все. Сунула денег: с Богом! Посадила на последний автобус. Вот он — спасительный поворот судьбы! А я — в Москву, в Москву!

Отец Дионисий, распрощавшись со мной, принялся осваивать какой-то новый способ изготовления икон с применением гальванопластики, подробное описание которого осталось еще от отца Ерма и было сделано от руки его каллиграфическим почерком в ученической тетради в клетку, когда в мастерскую к нему постучала та самая строгая и решительная молодая паломница Валентина, переселившаяся в мой дом.

Она уже целый год время от времени навещала в монастыре Дионисия и все ждала, когда он станет иеромонахом, “чтобы у него окормляться”. Однако она уже и сейчас жаждала этого духовного окормления, для чего и посвящала иконописца во все мельчайшие подробности своей жизни и просила его духовных наставлений. Но главное — и это самое удивительное — ей самой хотелось наставлять Дионисия. Учить его уму-разуму. Защищать — такого хрупкого! — от мира. Ей мечталось вроде того, чтобы сделаться его ангелом-хранителем, пресветлым опекуном рассеянного художника, беззащитного простодушного монаха-дьякона… Да-да! Ну а с другой стороны — Гоголь ведь в “Выборных местах…” как раз именно это советует помещице, он прямо-таки рекомендует наставлять своего священника: “Бери с собой повсюду своего священника, читай ему Священное Писание, отчеркивая на полях особо важные места, чтобы он не забывал того высокого служения, на которое он призван”. Что-то в этом роде. Ну и подобные же поучения он дает “женщине в свете”…

Примерно по этим рецептам Валентина и обращалась с Дионисием. Во всяком случае, у нее всегда была в руках книга какого-нибудь святого отца, и она, как бы невзначай, перекладывала свою речь цитатами оттуда. Просто открывала там, где было у нее заложено, и торжественно читала. Или, наоборот, одолевала его непосильными духовными вопросами: как толковать то или иное место в Библии? Как правильно творить Иисусову молитву? Отец Дионисий ее побаивался и увиливал от этих встреч, поскольку подчас они, как настоящие экзамены, на которых можно и завалиться, требовали специальной богословской подготовки, но она всегда настигала его и преграждала путь к отступлению. Вот и сейчас она вошла с самым непререкаемым видом, с многозначительным велеречием:

— В Псалтири сказано: “Избави мя от клеветы человеческия и сохраню заповеди Твоя”. Значит ли это, что пророк ставит Богу условие: если Господь не избавит от клеветы, то он и заповеди не сохранит?

— Нет, — испуганно проговорил отец Дионисий, — какие еще условия? Просто оклеветанному человеку сохранить их будет уже очень трудно… Он утратит мирный дух, цельность жизни…

Он углубился в чтение, давая ей понять, что она пришла не вовремя. Он занят. Но Валентина, искренне считавшая, что главное дело монаха — это человек и его спасение, произнесла:

— Божия Матерь нашла и для меня здесь тихую обитель.

И она рассказала, как матушка Харитина поселила ее у меня.

Он кивнул.

— Будем теперь с вами общаться каждый день, — непреклонно сообщила она.

Дионисий обреченно вздохнул.

— Я вот почему спросила у вас про клевету, догадываетесь? Про вас здесь многое говорят, отец Дионисий, только я ничему такому не верю.

— Что говорят? — спросил он, отрывая взор от тетрадки с описанием технологических процессов.

— Ну что говорят… Говорят всякое. Разное говорят. Не знаете?

Он удивленно взглянул на нее:

— Ничего я не знаю, да и пусть себе говорят.

— Как это — пусть? Сам Сирах заповедовал человеку нести попечение о своем добром имени. Вам нужно что-то предпринять.

— Ах, оставьте, еще преподобный Исаак Сирин учил: пейте поношения, как воду жизни.

— И что же — вы даже не хотите узнать, что это за поношение?

Он вяло покачал головой.

— А то, что у вас в Троицке две жены и три любовницы, это как? Вот что говорят.

— Да? — спросил Дионисий, опять погружаясь в чтение.

— Да, — прошептала она. — Это ведь неправда, правда?

Отец Дионисий усмехнулся:

— Конечно, мало сказать про монаха, что у него есть жена или что у него есть любовница. Нет, надо — что две жены и три любовницы. Какая чушь, забудьте об этом.

— Я не могу забыть, — сказала она, пронизывая его испытующим взглядом. — Я не могу об этом не думать, потому что у меня есть на это свои причины. Я хочу вам поисповедовать один грех…

— Но я не священник!..

— Ну, хорошо. Просто спросить у вас про него. Хотя, между прочим, в Писании изречено: исповедуйтесь друг другу. Но я хочу у вас спросить про грех одной моей знакомой.

— Может, не надо? — попросил Дионисий.

— Это касается вас…

— Тем более, а?

— Нет, я все-таки скажу, чтобы вы знали…

Он наморщил лоб, вчитываясь в страницу. Ему казалось, что так она скорее уйдет. Но он ошибся, потому что его явно деланное безразличие только еще сильней уязвляло ее.

— Что бы вы сказали, если б узнали, что одна женщина, которая приходит к вам, испытывает к вам пристрастие?

— Пристрастие? Зачем? — растерялся отец Дионисий. — Я бы сказал, что ей надо подыскать себе другой предмет…

— Но что же ей делать?

— Ей? Может быть, найти достойного человека и выйти за него замуж.

— Но у нее духовное пристрастие… Понимаете, именно духовное. Ничего такого, земного… Ничего низменного… Она ищет духовного союза. Вот.

Дионисию вдруг стало противно: он даже не мог понять, что именно ему отвратительнее — эти любовные признания или те словесные игры, в которые они были облечены. Но выгнать Валентину он как-то не решался. Да и потом как можно сопротивляться человеку, который являлся спецом именно что по сопротивляющемуся материалу? А она теперь сидела молча и смотрела на него испытующим немигающим взглядом. Присутствие ее становилось все более томительным. Какой тяжелый человек!

И тут Дионисий, что называется, “брякнул”, сказанул. Поюродствовал. Решил, что так ему дешевле выйдет.

— Духовный союз? Что-то я о таком не слышал. Звучит как-то уж очень плотоядно. Это что — какое-то новое извращение? Или — только прелюдия к нему?

И поднял на нее наивные глаза.

Валентина взвилась от такого цинизма:

— Ну, знаете ли… Не ожидала от вас. У вас просто нет ничего святого!

— Простите, — тут же с готовностью откликнулся отец Дионисий и поднялся со стула, давая понять, что ей пора уходить.

Она едва кивнула и вышла из мастерской. Он тут же о ней забыл. Сидел, вникая, медленно перелистывал страницы. Сколько времени прошло после ее ухода? Полчаса, час? И вдруг она рывком распахнула дверь, вся — ураган, мятеж, буря:

— Прошу вас, раз так, верните мне все, что я вам дарила.

Дионисий смотрел на нее ошеломленно, что-то тяжело соображая. Может быть, он пытался вспомнить, что же это такое она ему приносила, и — не мог. Потом вспомнил — кажется, красное расписное пасхальное яйцо на подставке, книгу святителя Игнатия Брянчанинова, вазочку с незабудками, что-то еще, ах, да, восковая свечка в виде золотой розы, рамочка для фотографии, да вот — кажется, блокнот в кожаном переплете, перьевая ручка. Вазочку, яйцо, свечку в виде розочки он кому-то подарил, рамочка висела на стене уже с фотографией старца Кукши, а блокнот, книга и ручка были в келье.

— Сейчас принесу, — сказал он, обматывая горло шарфом и надевая скуфью.

— Вы все испортили — все наше духовное общение, — уязвленно крикнула она ему вслед.

Не дослушав, он побежал через Афонскую горку и через несколько минут, запыхавшись, влетел в мастерскую, держа под мышкой книгу и блокнот с прикрепленной к нему ручкой. Поискал глазами пакет, засунул их туда, протянул ей.

Она вспыхнула, выхватила пакет из его рук и, хлопнув дверью, вырвалась на мороз.

“Даже и не возразил, не спросил: почему вы уходите? А как же тогда христианская любовь? Даже не попросил — останьтесь хоть ненадолго! Хоть бы на память оставил бы себе что-нибудь! Никогда больше к нему не приду”, — гудело и бушевало в ней.

А отец Дионисий почувствовал, словно гора у него свалилась с плеч. Вздохнул, было, полной грудью, ан нет: что-то лишнее, словно заноза, зацепляло его внутри. Мешало сосредоточиться. Он чувствовал какой-то ущерб, что-то не то. Но понять, что именно, так и не мог. Наконец, уже когда стемнело, хлопнул себя по лбу — эх, растяпа: блокнот! Блокнот ей отдал, а там…

С самого Рождественского поста отец Дионисий взял за правило вести дневник, очень это его успокаивало и примиряло с жизнью. Он тщательно записывал помыслы, чтобы ничего из них не забыть и потом честно выложить на исповеди, — все то, что незаметно влезает в голову, дурит, баламутит, сеет соблазн и смятение, втягивает, как в воронку, в водоворот страстей, уводит мысль, кружа ее и передергивая… И там, в этом дневнике, было нечто, совсем уж не пригодное для стороннего глаза. А кроме того — решил описывать в нем всякие сценки из церковной жизни, наблюдения, — мало ли, пригодятся. Было там кое-что и про владыку, причем очень нелицеприятное…

Дело в том, что владыка позвал иеродьякона Дионисия послужить на святителя Николая в епархиальном соборе. И потом благословил его остаться на трапезу. Во главе стола воссел сам архипастырь, по правую руку от него — Городской Голова и множество его чиновничьей челяди, а по левую — архидиакон владыки, маститые протоиереи и отец Дионисий.

— Владыченька, — сладко улыбаясь, поднял тост настоятель епархиального собора. — Вот все говорят: все могу во укрепляющем меня Иисусе Христе! А мы скажем: все можем во укрепляющем нас владыке Варнаве!

— Все можем, все можем, — закивали некоторые маститые протоиереи.

— Я даже больше замечу, — вылез вдруг тщедушный секретарь епархии, — в Евангелии Господь говорит: “Без меня не можете творить ничего”. А мы скажем: ничего не можем творить без нашего дорогого владыки.

— Ничего не можем, ничего не можем, — откликнулись разрозненные протоиерейские голоса.

Городской Голова чинно наклонил голову вперед и сделал жест, словно приглашающий и своих чиновников присоединиться к этому откровению. Те активно закивали, получилось часто-часто, мелким бисером, как у индусской статуэтки, которая некогда стояла на комоде у бабушки Дионисия: чуть тронешь ее — и она ну кивать, все уже о ней позабыли, а она все кач-кач головой.

Отец Дионисий поежился. Такая лесть показалась ему не только бесстыдной, но даже и кощунственной. Он взглянул на владыку. Тот явно расчувствовался и жадно ловил каждое слово. Наконец, смахнув слезу и подняв бокал, он произнес:

— Многие грехи простятся тебе за эти слова!

Было там, в дневнике, и о самой Валентине. Ох, если она прочитает… Сраму не оберешься. Еще и не так поймет. Но как он, монах, мог такое написать: прельстился точностью выражения. При одном воспоминании уши у него покраснели… Вот уж — ради красного словца. Там было написано: “Все люди источают флюиды, а Валентина выделяет яйцеклетки. Большие такие, хищные яйцеклетки. И мне кажется — они носятся за мной: ужас, ужас, боюсь!”. Тьфу, дурень он все-таки!

И еще там было — ах, лучше не вспоминать, лучше пойти побыстрее да забрать этот злосчастный дневник. Искушение! Как он мог так ошибиться! А вдруг она не отдаст — вон какая злющая: отдавайте мне мои подарки! Да он уже и не помнит, что именно. Ну, хорошо, он компенсирует ей убытки — подарит что-нибудь взамен. Он увидел искусный деревянный узор, вырезанный недавно резчиком в качестве образца для нового иконостаса. Решил — скажет резчику, что узор подходит, а зачем тогда хранить образец? Вспомнил, что Валентина поселилась в моем доме. Значит, надо было немедленно отправиться к ней и забрать блокнот, пока она его не прочитала, а взамен подарить ей узор. Ну и помириться. Бог с ней. Духовный союз так духовный союз. Плохо, конечно, что она его общительность истолковала в каком-то приватном смысле. Но это пройдет. Он ей дал понять, что он тут ни при чем. Если умная, сделает вид, будто никакого объяснения она с ним и не устраивала. Если глупая — что ж, пусть немножко поненавидит его.

Меж тем было уже темно и метельно. Троицк в эти святочные дни ходил ходуном, пил, гулял, горланил и даже, несмотря на нищету, то там, то здесь взрывал хлопушки. Идти через весь город в зимней рясе было и неудобно, и опасно — могли привязаться местные пацаны просто, чтоб “попугать и погонять попа”. Да и всякое могло случиться. Поэтому отец Дионисий зашел к монастырскому сторожу и садовнику монаху Матфею, которому наместник вручил ключи от монастырских складов, где хранилась утварь и ветошь еще со времен царя Гороха: были там какие-то выцветшие пальто, тулупы, валенки, ушанки. Но Матфей категорически отказался без благословения наместника пускать туда Дионисия, и пришлось ему идти к игумену Иустину, а заодно уж и просить его благословения на поход в город. Но Иустин позволил:

— Иди. Только быстро — туда и обратно. А то тревожно. У меня и Лазарь отпросился к крестнику на святочный вечерок.

Дионисий залез на склад, нашел там для себя какую-то безумную серую шубку из искусственного меха, который свалялся по бокам и повылез на животе, взял себе и шапку-ушанку, которую завязал под подбородком, да еще и обулся в черные валенки с галошами, заправив в них брюки. Наряд изменил его до неузнаваемости и сделал похожим то ли на советского провинциального бухгалтера, то ли на проходимца-неудачника. Что-то было во всем его облике сомнительное и полупочтенное. Но самому отцу Дионисию маскарад понравился: ни у кого в городе не будет интереса приставать к такому прохожему — видно, что взять с него нечего, задирать — неинтересно, да, может быть, и небезобидно — кто знает, что за прощелыга кроется под серым вытертым ворсом? Он вышел через нижние ворота и, никем не узнанный, поспешил к моему дому.

Было уже совсем темно, и троицкие мутные фонари смотрели вполглаза на редких пугливых прохожих, трусящих по крещенскому морозцу, хрустящему снежку и причудливым тротуарным наледям, на стайки разгулявшихся парней и девок, которые клубились то здесь, то там, щеголяя распахнутыми на груди куртками и откупоренными бутылками, к которым и прикладывались для куражу.

Все, однако, настолько заиндевело, задубело, заледенело, что идти было трудно, дул ледяной ветер, а холм, на котором возвышался мой дом, сделался и вовсе неприступным — его надо было брать с наскока, с разбега, штурмом. Дионисий несколько раз скатывался по нему и, по-птичьи взмахивая длинными руками, приземлялся в сугроб. Тем не менее, он обратил внимание на странное обстоятельство — в доме не горел свет. Конечно, могло статься, что Валентина отправилась на службу в монастырь и еще не приходила. С другой стороны — какая же служба? Отец Дионисий вспомнил, что колокол, возвестивший ее окончание, ударил еще когда он только примерял свой маскировочный городской наряд. Скорее всего, перенапрягшись в проповеди и отповеди, закоченев на ветру и отогревшись возле пылающих печек, она всей душой и телом предалась успокоительному сну. А может — и весьма вероятно — она просто уехала. В принципе, она же могла собираться домой. Забрала подарки — и в путь! Но тогда и его блокнот с помыслами катит теперь по железной дороге, подпрыгивает на стыках: ту-ту! А может, она просто пошла к матушке Харитине — сидят, чай пьют, что ей делать в огромном пустом доме одной, зачем подвергаться опасности вторжения бывшего лагерника с дружками? Но тогда блокнот наверняка остался в доме — не вслух же она его читает старой монахине?

Дионисию это упрощало задачу: он знал, что запасной ключ от дома спрятан в старой калоше, покоящейся под перевернутой бочкой. И можно пробраться в дом незамеченным и просто утащить свою тетрадку с собой, будто ее и не было. Вернется Валентина — а где блокнот? А его нет как нет. Куда же я его положила? На столе нет, на диване нет, в печке нет, наверное, выронила по дороге, валяется где-то в снегу. А он ей потом подарит какую-нибудь другую ценную тетрадку — новую и чистую, без таинственных помыслов. Наконец, кое-как цепляясь за кусты, ему удалось вскарабкаться и, поднявшись на выступ, открыть запертую изнутри на щеколду калитку, которую, кстати, он и не стал запирать.

Для порядка он все-таки несколько раз позвонил, потом, не услышав звонка, постучал в дверь, но никто ему не открыл — если Валентина и почивала, то крепко. Тогда он отодвинул бочку, достал ключ, отпер дверь и с усилием толкнул ее. Она, однако, поддалась весьма туго, будто бы изнутри была приперта чем-то тяжелым. Но если это было так, то вряд ли Валентина могла бы выбраться из дома. Правда, имелась еще одна дверь — та выходила прямо на калитку, но отец Дионисий знал, что в ней не было ни замка, ни даже замочной скважины и что она всегда запиралась лишь изнутри на большой железный засов. В этом случае она бы оставалась открытой. Он даже специально вернулся к ней и навалился на нее всем телом. Нет, определенно Валентина была дома. Он снова вернулся к той, прежней двери, выходящей в глубины сада и еще разок ее, как следует, толканул. Тяжелый предмет, приваленный к ней с другой стороны стал поддаваться, и Дионисий уже смог протиснуть в щель руку, нащупывая ею в темноте какой-то железный предмет солидных размеров, оказавшийся примерно на уровне его коленки. Тогда он вспомнил, где выключатель и попытался включить свет, но тщетно — то ли перегорела лампочка, то ли вообще в доме не было электричества. Конечно — ветер вон какой сильный, шумный, налетит — запросто оборвет провода, то и дело грохочет кровельным железом: “Тра-та-та-та-та-трах-барабах”.

— Валентина, — позвал он.

Но никто не откликнулся. Тогда он напрягся всем телом и заставил попятиться железяку, которая отчаянно сопротивлялась, отказываясь его пускать. Тем не менее, он протиснулся вовнутрь. Дверь качнулась назад и захлопнулась за ним, а в железном препятствии он в темноте распознал садовую тачку, на которой были навалены дрова.

Надо сказать, что архитектурная конструкция моего дома весьма замысловата. Итак, в нем две входные двери. Но одна, та, что располагалась ближе к улице, почти всегда была заперта — я распахивала ее лишь летом, чтобы проветрить дом или выгнать мух. Та же, через которую вломился отец Дионисий, вела сразу на большую кухню. Из нее можно было попасть в уборную и в прекрасную комнату с двумя окнами, выходившими в сад. К этой комнате — с левого бока — примыкала другая, которую местные называли “залой”. Она тоже была проходная и уводила в третью, выглядывающую окном на улицу и имевшую вторую дверь. Через эту дверь можно было выйти в предбанник, откуда поднималась на второй этаж крепкая лестница и откуда выводила из дома прямо к калитке запасная входная дверь, а другая, хлипкая с плотно закрашенным стеклом, открывалась в уборную. Таким образом, первый этаж можно было обойти по кругу, имея при этом в виду, что какая-то часть пути будет пролегать через сортир, в котором оказывалось два входа. Непонятно даже, для чего это было придумано, тем более что почему-то получалось всегда так, что с какой бы стороны ты ни подошел бы к уборной, именно эта дверь и оказывалась запертой изнутри.

И вот, очутившись в темноте на кухне, отец Дионисий естественно устремился в комнату. Толкнул дверь. Резко толкнул, как-то лихо, борзо… А ведь сам часто говорил вслух и в то же время как бы себе самому: “Три правила есть, Дионисий: не борзись перед Богом, не борзись пред людьми, не борзись перед собой”. А тут, выходит, именно, что перед собой и заборзился. И что же? Произошло нечто ужасное: шум, грохот, ветер что ли крышу с дома рвет, — он даже не вполне сразу сообразил, что именно, но факт: на него сверху с шумом обрушилось ведро воды… Мокрый, испуганный, не успевший опомниться, он машинально шагнул в сторону и тут почувствовал под ногой мелкий округлый предмет, шарик какой-то или гайку, что ли, и раздалось нечто вроде взрыва, да нет, взрыв, а что же еще? На пистон, что ли, он на какой наступил? Боже, что творится! Вскрикнув и не понимая, что происходит, он ринулся вперед, но тут же вляпался во что-то густое, поскользнулся и растянулся по полу, шапка долой, с мокрой собачьей искусственной шубки вода ручьем. Весь пол, оказалось, был полит каким-то растительным, касторовым, машинным, что ли, маслом, рыбьим, что ли жиром, гадостью какой-то густой, прилипчивой.

— Валентина! — закричал отец Дионисий не своим голосом, пытаясь подняться и продолжая скользить, — что это за казни египетские? Что за мура?

— Еще и не так получишь, только сунься! — неожиданно услышал он из соседней комнаты.

— Я хочу только забрать свое, — жалобно затянул Дионисий, с отвращением ощупывая свои мокрые, покрытые жиром брюки.

— Твоего здесь ничего нет, проходимец! — ответил ему железный голос. — Вот как я тебя сейчас… крестным знамением, нехристь! Попляшешь тут! А кроме того — у меня горячая кочерга!

— Ну это же я, иеродьякон Дионисий! — простонал он.

— Говори, говори, — неумолимо ответила Валентина. — Сдам тебя с поличным. В другом месте будешь доказывать, что да как. Даже бес может принимать образ ангела светла, — назидательно прибавила она. — И братану скажи, чтоб проваливал отсюда, а то у меня и на него найдется управа. Ловушка захлопнулась. Я все теперь про тебя знаю.

Отец Дионисий, который в тяжелых думах о своем блокноте с помыслами совершенно забыл о встрече освободившегося уголовника с братаном, опешил.

“Все, прочитала-таки дневник, — содрогнулся он. — Но кого она имеет в виду под братаном? Лазаря, что ли?”

Но и Валентина, которая слишком хорошо усвоила, что в дом должен нагрянуть разбойник с шайкой, и потому приготовила им встречу, приладив над дверью это злополучное ведро с водой, кроме того запихнув несколько спичечных головок в гайку и закрутив ее крепко-накрепко; и помимо всего этого еще и поставив на пол большущий жостовский поднос, в который налила соевого масла, даже и не могла предположить теперь какой-то иной вариант, кроме начавшегося наступления вражьей силы. К тому же она долго сидела в темноте и выжидала, поглядывая в окно, пока не увидела, как этот, в разбойничьем отрепье, в валенках и дикой ушанке, шатаясь, карабкается на холм — ушанка падает, сам соскальзывает, наверное, пьяный, глаза в темноте горят. И вот он теперь тут — нате вам, пытается зубы заговорить, прикидывается Бог знает кем, монахом… Дальнейший план у нее был такой — оставить его здесь, в темноте и ужасе, а самой тем временем выскочить из другой двери на улицу и кликнуть милицию — благо соседка Эльвира в случае чего предлагала ей воспользоваться ее телефоном. Надо было только задержать этого пахана в доме.

— Да это же нехорошо, взорвался он. — Это же чужие тайны! Это же все по ошибке.

— Да уж, большая ошибка — шляться ночами по чужим домам, — воинственно откликнулась она. — А тайны твои — это уж как пить дать, дело нехитрое. — Она напряглась, силясь вспомнить подходящую цитату. — Как говорится, “зачал грех и родил беззаконие”, ясное дело: все эти секреты теперь у меня в кулаке.

— Что значит зачал? Как это в кулаке?! Да это же какое бесстыдство! — возмутился отец Дионисий, даже дыхание у него перехватило. “Тра-тра-трам-тарарам!” — загрохотал ветер по крыше, вторя ему. Наконец он вылез из масляной лужи и, добравшись до стула в углу, уселся на него.

— Еще и возмущается! Все тайное становится явным! А вот я тебя за ушко да на солнышко!

Дионисий пригорюнился: вон как ее разобрало, ясное дело — прочитала она все его помыслы, горит мщением, готовится к шантажу. Правду говорят: месть женщины страшна.

В доме водворилась полная тишина. Валентина, ступая на цыпочках, вышла в предбанник, накинула телогрейку и мохнатую шапку, сжала в руке кочергу, рывком отодвинула щеколду, распахнула дверь, от которой до калитки оставалось два прыжка и вдруг — чуть ли не нос к носу столкнулась со страшным бандитом в черных очках.

Она издала нечленораздельный вопль, дала обратный ход, захлопнула дверь и, привалившись ней всем телом, уже дрожащими руками заперла щеколду.

Тем временем Мурманск, обещавший поглядывать за моим имением, решил по дороге домой подрулить к нему. Брать ледяной холм было бессмысленно, поэтому он сделал крюк и подкатил, было, с другой стороны — то есть прямехонько от военной части, да по дороге завяз в снегу. Решил пройти через мой сад к Эльвире и тем сразу убить двух зайцев — глянуть, все ли у меня тихо-спокойно, а заодно и выпросить у Эльвиры лопату. Дом был погружен в темноту, и он уже, было, обогнул его, устремляясь к Эльвириной калитке, как вдруг его внимание привлекло то, что дверь была приотворена и там — прямо между дверью и косяком — чернела огромная человеческая нога в черном валенке. Он повернулся к странному виденью всем телом, и в этот момент раздался щелчок захлопнувшегося замка.

— Та-ак! — сказал Мурманск. — Ну, гад, теперь ты попался! Капкан защелкнулся. Теперь не уйдешь!

И встал около двери на карауле. Хотел было, впрочем, юркнуть к Эльвире и дать ей знак, чтобы она позвонила в милицию, однако вдруг из глубины дома раздался страшный грохот, а потом и взрыв. И он решил не оставлять своего поста.

В это самое время весьма довольный монах Лазарь возвращался от своего крестника. Надо сказать, что это как раз был день ангела нашего Лазаря: день Василия Великого, а он до монашества был Васей. Вот крестник и уважил его, подарив на именины импортную рыболовную сеть. Потому что Лазарь был заядлый рыбак, и его друзья по монастырю даже усматривали в этой страсти некую для него пагубу — все время терпел он урон от семейства рыб: то какой-то рыбий глист в нем поселился, и Лазарь взял манеру травить его жгучими индийскими и мексиканскими приправами, приговаривая: “Погибай, гад!”, то однажды он подавился рыбьей костью, то так проколол плавником руку, что началось нагноение. Но такие бедствия нисколько не ослабляли в нем пыл рыбака. Напротив, с превеликим удовольствием цитировал он слова Евангелия: “Идем рыбы ловити!”.

Вот и возвращался он в прекраснейшем святочно-именинном настроении, утешившись с крестником веселящими сердце человека напитками и с восхищением ощупывая подарок, который они с крестником успели уже размотать во всю ширь, а теперь лишь наскоро свернули, чтобы не волочился. Идти предстояло через весь город, поэтому он перекинул полы подрясника на плечи, а сверху надел черное длинное пальто, замотал лицо шарфом, надвинул на лоб осеннюю кепку, да еще для вящей маскировки надел — это в кромешной-то темноте! — темные же очки. Ну что монаху светиться на ночной улице, а? И вот в таком веселом настроении и загадочном виде он и устремлялся всей душой в родной монастырь. Однако подумал — нет ли там какого нападения на дом? Когда он еще в город выберется, а присмотреть за моим имуществом обещал. К тому же это ему почти совсем по пути. Недолго думая, он и свернул с прямой дороги и зашагал к дому. Обогнул чью-то завязшую на безлюдной улице в вековых снегах машину и устремился к калитке.

Первое, что ему не понравилось, так это то, что на чистом снегу обозначились свежие следы. Мужские следы. Огромные следы. Много следов! Второе, что его поразило: из боковой двери, которая никогда зимой не открывалась, вдруг чуть ли не прямо на него выпрыгнула большая фигура в телогрейке и меховой шапке да еще и с кочергой и, завопив истошно на все улицу, вломилась обратно, со скрежетом запирая засов. На крик из-за дома выскочил здоровенный красномордый мужик и попер прямо на Лазаря. Лазарь выкинул вперед руку с рыболовецкой сетью и попросил:

— Не подходи, пожалуйста!

Но мужик сделал свирепое лицо и еще решительнее устремился к Лазарю. Тогда Лазарь — от отчаянья и беспомощности простер руку еще дальше и одним махом натянул мужику на лицо его спортивную шапочку, размотал, насколько это позволяли считаные секунды, которые отделяли его от мужика, сеть и попробовал его туда поймать. Тот уже скинул шапку и, увидев перед собой противника с сетью на растопыренных пальцах, стал уворачиваться и отступать, пока не наткнулся на перевернутую бочку. Тогда он ойкнул и сел в снег, и Лазарь его поймал, как большую рыбу, трепыхающуюся в сетях.

А в это время Эльвира, обходя ночной сад, заслышала тревожные звуки со стороны моего дома и решила проявить бдительность. Она вошла на мою территорию через соединявшую нас калитку и вдруг увидела, как Мурманск отступает перед лицом классического бандита в черных очках, который ловит его в свои сети. Поэтому, как только Мурманск оказался в ловушке, а бандит склонился над ним, затягивая узлы, она, отчаянно завизжав, прыгнула ему на спину. От неожиданности монах Лазарь выпустил из рук сеть, Мурманск выбрался из пут, вскочил на ноги и теперь уже сам принялся вязать противника, причем поначалу крепко притянул к его спине и голову Эльвиры, которая кричала ему об этом очень истошно. В конце концов она вывернулась, и они повергли бедного именинника на снег, так крепко замотав его узами, что не оставили ему никакой надежды на освобождение. Связав его таким образом, они не нашли ничего лучшего как запихать его в ледяной сарай, а чтобы он не очень орал, Эльвира предложила заткнуть ему рот своим носовым платком. Видимо, не зря они смотрели американские боевики и отечественные сериалы.

Торжествующая Эльвира побежала вызывать ментов, а Мурманск, памятуя о том, что напарник этого разбойника, а может, и не один, укрылся в доме, остался караулить.

В тот же самый момент Валентина, после своей неудачной вылазки поняв, что она окружена со всех сторон, не нашла ничего лучшего, как запереться в уборной, из которой, по странной вышеупомянутой архитектурной идее, вели две двери — в предбанник и на кухню.

А отец Дионисий, которого до душевной и телесной туги тяготило его унизительное положение и, конечно, то, что Валентина, как оказалось, уже знала сокровенные детали его душевного устроения, попробовал вновь подать признаки жизни и умилостивить ее, умоляя на деле проявить к нему горячее пристрастие, в котором она ему признавалась еще днем.

— Валентина, — позвал он. — Где свет? Мне надо вымыть хотя бы руки! Что вообще происходит? Давай мириться.

Ему ответила черная пустота. Тогда он стал осторожно скрестись в дверь соседней комнаты. Ответом была тишина. Он, еле дыша и втянув голову в плечи, приоткрыл дверь, словно провидел, что вот-вот на него сверху, как в дурной комедии, упадет какой-нибудь тяжелый предмет, а то и выльется что-нибудь вроде кипящей смолы или расплавленного олова. Он и не очень ошибся. Над дверью действительно оказалась хитроумно приделанная швабра, которая благополучно и свалилась, легонько задев его плечо. Тут же он услышал скрежет отворяемого засова, потом чудовищный вопль, затем снова заскрипел засов, и все стихло. Он на ощупь поискал свой злосчастный блокнот на столе, пошарил руками по дивану, пробрался в следующую комнату и провел ладонями по подоконнику. Наконец рука его нащупала кожаную обложку, знакомый бумажный глянец, и он, прижав этого ненадежного хранителя тайн к сердцу, решил безо всяких объяснений убраться поскорее восвояси. “В конце концов, и ладно, пусть ее, пусть знает! Невелики тайны!” Однако он не рискнул пробираться к выходу той дорогой, на которой хлебнул столько скорбей, и устремился к запасному выходу, предваряя свое передвижение примирительными словами:

— Все хорошо! Все в порядке! Я ухожу!

Он нащупал щеколду и отодвинул ее, распахивая дверь.

Меж тем, присматриваясь к выцветшим и заметенным снегом названьям улиц и номерам на домах, сверяясь с нарисованным мною планом, к дому уже приблизился мой бывший студент, непутевый Ваня Шкаликов. В дороге он, как водится ему, натерпелся превратностей: автобус сломался и выбросил пассажиров в пяти километрах от Троицка, так что Ване пришлось переть пехом, он замерз, изголодался и если б я не дала ему денег, совсем бы отчаялся. А тут, при деньгах, он зашел в магазинчик, купил себе хлеба, кефира, докторской колбасы, яиц и жаждал наконец добраться до пристанища, памятуя о том, что я когда-то ему рассказывала: в доме пять печей, охватывающих его своим жаром со всех сторон, в доме газовая плита, в подполе картошка, лук, консервы… Ложки, вилки, ножи, тарелки. Мыло, полотенце, одеяла, подушки. А кроме того — некая интригующая Незнакомка, которая — кто знает, может быть, когда-нибудь… Он не выпускал из ладони ключ, который я ему дала в последний момент, чтобы не случилось какого искушения с поисками галоши под опрокинутой бочкой.

Наконец, попав на улицу, ведущую вдоль военной части, и убедившись, что по плану ему остается лишь свернуть с нее в первый переулок направо, и все, он дома, где ждет его волевая женщина, настоящая хозяйка, возможно, будущая его спутница жизни, он немного расслабился, размягчил сердце в предвкушении скорой тихой пристани, тепла и счастья, как вдруг увидел у колеса машины, застрявшей в снегу, кота. Кот, приметив сего воодушевленного молодого человека, зажег свои глаза и пронзительно заголосил. Ваня остановился, решив оторвать ему кусок колбасы, чтоб бедолага не околел, и кот, словно почувствовав Ванино расположение, приблизился и потерся о его ногу. И тогда Ваня, тронутый его лаской и решивший преподнести его в дар будущей своей хозяйке, просто подхватил его, засунул за пазуху и со словами: “Я тебе и кефирчику дам, и обогрею”, уже совсем по-свойски зашагал к дому, открывшемуся ему за поворотом и удостоверявшему в неложности обещаний: во всяком случае, при свете тусклого уличного фонаря выглядел он весьма привлекательно и просторно. Котик прижался к груди своего спасителя и затих, мурлыча, а Ваня с чувством великого облегчения вступил в свои новые владенья.

Не успел, однако, он сделать и нескольких шагов, с тем, чтобы обойти дом с торца и отыскать нужный вход, как перед ним неожиданно распахнулась та самая дверь, о которой я ему несколько раз говорила как о вечно запертой, и перед ним возник какой-то замызганный, обтрюханный, скукоженный, вывалившийся Бог знает в какой канаве, лохматый, волосатый бомж. Увидев прямо перед собой Ваню, который, надо признаться, тоже производил впечатление, он горестно охнул и ринулся обратно, поспешно запирая дверь. Ваня тут же сообразил, что это, должно быть, тот самый уркаган, от которого ему поручено охранять владение, поэтому он хрипло гаркнул: “Стоять!”, вспрыгнул на ступеньки и ухватился было за край закрывающейся двери, однако при этом почувствовал, как котик тут же вцепился ему когтями в грудь, а драгоценный ключ выпал из его ладони и упал в снег. Пальцы его соскользнули, и роковая дверь захлопнулась, стремительно запираясь изнутри.

Пока отец Дионисий открывал щеколду, Валентина, затаив дыханье, трепетала в своем непрочном укрытии, но, заслышав сиплый бас Вани, дверной хлопок и скрежет вновь запираемого засова, не выдержала и выскочила через другую дверь на кухню. Пробежав несколько шагов, она в темноте наткнулась со всего размаха на тачку, из которой повалились дрова. Хромая и потирая ушибленные места, в ужасе она устремилась в комнату и тут же попала в собственную ловушку, споткнувшись о валявшееся ведро и поскользнувшись на соевом масле. В конце концов, она уселась на том же самом стуле, на котором еще несколько минут назад приходил в себя Дионисий:

— Что ты гоношишься, — закричала она, стараясь, чтобы голос ее звучал твердо и грозно. — Сдавайся. Дом окружен. Ты что, не слышишь эти соседские голоса за окном?

А Ваня, вынув из-за пазухи рвавшегося на волю кота, пообещав ему, что колбаса с кефиром никуда от него не убегут, принялся искать в снегу потерянный ключ, но жуткое ощущение того, что некто пристально наблюдает за ним из темноты, заставило его мгновенно выпрямиться и резко развернуться. Действительно, из-за угла дома выглядывал человек. Заметив, что Ваня его увидел, он скрылся. Ваня направился к нему, надвинув на лоб немыслимую свою ушанку и грозно помахивая пакетом с продуктами. Весь его бывалый облик без обиняков свидетельствовал о том, что это человек нешуточный. Оценив расстановку весьма и весьма неравных сил, Мурманск не рискнул так сразу набрасываться на него. Тем более что и схватка с куда более деликатно сработанным Лазарем, если бы не Эльвира, неизвестно бы чем еще закончилась для бывшего моряка. К тому же Эльвира, должно быть, уже вызвала милицию. Поэтому Мурманск свел свою задачу к элементарному затягиванию времени.

— Холодно, — сказал он миролюбиво, потирая руки и поднимая воротник.

— Нежарко, — согласился Ваня.

— Снегу поначалу было мало этой зимой, — продолжил свои метеорологические наблюдения Мурманск.

— Негусто, — вновь подтвердил Ваня.

— Посевам это плохо, им влага нужна, покров от мороза, — углубился в рассуждения Мурманск.

— Да, для посевов это полная, можно сказать, хана, — кивнул Ваня.

— Да, но теперь снега много. Вот намело-то. Сугробы, — раскинул руки Мурманск. — Теперь посевам хорошо.

— Хорошо, думаете? — подозрительно спросил Ваня и тут внезапно, не выпуская из рук сумку с яйцами и кефиром, схватил Мурманска за грудки, тряхнув его для острастки. — Ты чо здесь ошиваешься? На стреме стоишь? Зубы мне заговариваешь? Чтоб я тебя здесь больше не видел!

— А я ничего! — струхнул перед грубой силой Мурманск. — Я просто. Я — от соседки, попытался он кивнуть в сторону Эльвириного дома. — Соседи мы.

По всей видимости, Мурманск уже и сам был не рад, что ввязался в эту историю, — слишком много вокруг обнаружилось этих братанов-уголовников: один в доме, один в сарае, один держит его чуть не за шкирку, сколько их еще привалит! Да и что ему, в конце концов, за чужое добро погибать!

— Соседи, говоришь? — подозрительно спросил Ваня, разжимая пальцы.

— Соседи, соседи, — залепетала Эльвира, приковылявшая доложить, что милиция вот-вот будет.

— Какие они соседи! — вдруг раздалось из сарая. — Разбойники они, уголовники, воры, тати ночные, поганые супостаты! — Это Лазарь выплюнул наконец Эльвирин платок и подполз к двери, пробуя дотянуться до нее ногой. — Откройте!

— Открой! — приказал Ваня.

Мурманск раскрутил проволоку, которой были замотаны дверные скобы.

— Вот изверг! — сказал Ваня, заглядывая в темноту. — Выведи человека на волю.

Мурманск полез в сарай и через пару минут оттуда вышел, хоть и опутанный узами, но уже, можно считать, освобожденный пленник.

Увидев выразительную Ванину физиономию, наполовину скрытую клочковатой рыжей бородой, он было опять попятился в сарай, но все же сообразил, что либо эти бандиты меж собой сильно не в ладах, либо они вообще из разных группировок. Да вообще он заледенел, продрог до костей, к тому же весь был усеян большими и мелкими опилками, древесной корой.

— Ох, замерз-то как! — запричитала Эльвира. — Обморозился, поди.

— Набросились на человека, заткнули ему рот, запихнули в ледяной сарай, а теперь еще причитают, — стуча зубами, сказал монах Лазарь.

— Так пойдем, я тебя, миленький, отогрею, чайком отпою, тут-то все равно никто тебя в дом не пустит, тут все равно все заперто, темно, — заюлила она, косясь на Ваню и явно его страшась. Кроме того, она знала, что через минуту-другую здесь будет родная милиция, так они и возьмут его, тепленького, прямо из ее дома.

Лазарь боязливо посмотрел на нее, на страшного Ваню, на испуганного Мурманска, но все же решил пойти с ней. Все равно в монастырь нельзя было возвращаться в таком виде. Он окончательно выпутался из сети, перекинул ее через плечо и сказал:

— Ну, веди!

Эльвира суетливо засеменила вперед, Лазарь двинулся за ней, а следом потрусил замерзший Мурманск.

Ваня вернулся к крыльцу, на котором он выронил ключ, и углубился в поиски.

Незадолго до этого игумен Иустин, обойдя монастырь и не увидев ни Дионисия, ни Лазаря, стал испытывать какую-то смутную тревогу. Себя стал ругать — как это он смог отпустить своих монахов в разгульный святочный вечерок совсем одних, безо всякой защиты… Это не давало ему покоя. Поэтому он вызвал Клима Никифоровича и отправил его в город искать монахов, указав, где они могут быть.

— Чего там, отыщем, вернем молодцов! — пообещал Клим Никифорович.

Завел машину, выехал из монастыря, но сначала решил воспользоваться тем, что он на сей раз без наместника, и завернуть к одной матушке, которая обещала продать ему половину дома. Дело в том, что он хотел купить его “тайнообразующе”, не доводя до сведения отца Иустина. Потому что подозревал, что Иустин его на покупку не благословит, скажет: “Никифорович, зачем тебе дом? Тебе постригаться надо, плохо ли тебе в монастыре?”. Потому что отец наместник считал, что всякий монах, владеющий недвижимостью, неблагонадежен для монастыря. Может быть, даже неблагонадежен для Царства Небесного, но отец Иустин не дерзал делать таких рискованных обобщений. А ему, Никифоровичу, совсем-то в монастырь уходить боязно. А вдруг что не так — выгонят его, где он жить-то тогда будет на старости лет? А тут — дом купит, будут у него тылы. А вот именно тылы-то Иустин-наместник у монахов и не любил. Короче, завернул Никифорович к этой рабе Божией, та его потчевать, оладушки со сметанкой, с пылу с жару. Разморило Никифоровича, размяк он.

— О цене, — она говорит, — не беспокойся, Никифорович, все будет путем…

Короче, счет времени потерял, сам и не знает, сколько он у нее и пробыл, может, полчаса, может, час, а может, и все полтора. Выехал от нее как в мороке каком: уж не колдует ли матушка эта, — так даже подумалось ему. Дурман в голове. А что как монахи уже давно вернулись и почивают в монастыре, пока он их тут по переулкам да по домам выискивает?

Начал с Лазарева крестника, но там случился облом — в доме уже было темно, все спали, видимо, крестник “перепраздновал” именины своего крестного. Во всяком случае, он долго не выходил на стук, потом появился заспанный и плохо соображающий и огорошил Никифоровича, что Лазарь ушел от него один-одинешенек, но это было “давным-давно”. Никифорович поехал к моему дому, но и тот встретил его темными окнами, не оставлявшими никой надежды на Дионисия.

И все же Никифорович оставил машину у подножья холма и стал, цепляясь за кусты, карабкаться вверх, что в подряснике делать было категорически неудобно, а со стороны, быть может, и вовсе смешно. Однако вокруг никого не было, все возможные зрители уже или спали или гуляли по другим углам Троицка, и Никифорович наконец добрался до цели. Он вошел в распахнутую калитку и тут же наткнулся на стоявшего буквально на карачках страшного всклокоченного бомжа. Тот старательно рылся в сугробе.

Увидев перед собой величавого старика с благодушным лицом, похожего на Деда Мороза, Ваня вскочил на ноги и неожиданно сказал:

— Снега в этом году было мало. Для посевов — плохо. А теперь, я смотрю, много. Навалило. Вон — сугробы. А для посевов — хорошо. Зима холодная. Мороз. Вот.

Никифорович стоял перед ним, кивал, соображая, что встретился один на один с братаном, который только что что-то зарывал в снегу, — может, оружие, может, деньги, а может — и того, останки жертв, а где-то здесь его дружки, а где-то здесь, быть может, и монахи, Дионисий-то ведь точно сюда пошел, а ну как они его — Господи, даже и предположить жутко, что ему в снегу-то нужно, зачем он говорит, что много снега — это хорошо, для чего, собственно, хорошо, а — следы заметать, улики закапывать: чего роет? Руки красные огромные, как две снежные лопаты раскинул, страшный, заросший, на человека почти и не похож, зубы заговаривает — про посевы…

И тут Никифорович увидел в двух шагах от него черного кота. Кот сидел и облизывался, да еще и мыл себе лапкой белую мордочку, потому как Ваня все-таки выполнил свое обещание и отломил ему от своего батона изрядный кус докторской колбасы. Никифорович, несмотря на белую морду кота, внутренне содрогнулся, подумал: “Э-э, да тут не разбойники, тут жди чего похуже”, мысленно осенил себя крестным знамением: “С нами крестная сила” — и строго спросил:

— Что зарываем? Где все?

— Один — в доме, прямо на меня выскочил, да я схватить его не успел, а другие пошли к соседке, — Ваня улыбнулся. — А одного они связали и томили в сарае. Разборка тут какая-то, — прибавил он, ловя себя на желании понравиться благообразному старику-монаху.

Но вдруг его поразило странное предположение — а чего, собственно, он здесь делает, а? Монах, в такое-то время? Хозяйки нет, а он пришел. А где, собственно, Незнакомка? Ах вот оно что — они ее заперли в доме, а этот — сторожит. Может, он благообразный-то благообразный, а сам — из их шайки? Ну, бывают такие случаи. Один — на стреме стоит, положительного изображает, дружинника, представителя власти, а сам… Операция “Ы”. Маскарад, одним словом. Ваня тут же переменил тактику, пуская в ход уроки КПЗ — недаром же он провел там полтора года:

— Ты чего мне тут пенку пускаешь, разводишь темноту с чернотой? Ты чего это свистишь, травишь, тянешь фазана, шаманишь, шлифуешь уши, лепишь горбатого, липуешь, мухлюешь, парафинишь, накалываешь, буровишь, шобла-шелупень-чувырло-хипежник-фраер-задрыга-лох-мазурик-лярва! Вали до хазы, там они тебя, у соседки, ждут. Пойди, пойди к ним, скажи — без понта, первоначальный план не удался, малина занята, уходим дворами. Или ты к этому твоему дружку устремляешься, который в доме засел? Знаешь стих: “Ворон крови попил. Сыт”. Дошло? А женщину зачем похитили? Сейчас и дружка твоего оттуда выкурю. У тебя, кстати, закурить есть, нет? Ты молитвы-то знаешь, монах? Ну, читай “Отче наш”. А то по всей Москве такие ряженые в рясах расхаживают, милостыню на монастыри собирают, а скажи им: прочитай-ка, брат, “Верую”, а они ни бэ, ни мэ.

Никифорович слушал его с напряженным интересом и, что странно, почти и без испуга: он все старался уловить смысл. А кроме того, его поразил странный контраст между всеми этими диковинными, какими-то заморскими словесами, о происхождении которых Никифорович как-то сразу и не догадался, и совершенно невинным и “свойским” Ваниным взором. Кроме того, его совершенно сбило с панталыку, что этот, с черным котом, предложил ему прочитать молитву: про такое поведение лукавого он не слыхал. Напротив, в монастыре говорили, что враг рода человеческого от молитвы как раз бежит, трепеща.

— А почему? — только спросил он. — Почему эти монахи “Верую”-то не знают?

Пока Ваня испытывал Никифоровича, монах Лазарь, оказавшись в натопленном доме Эльвиры, скинул с себя ледяное пальто, сплошь усеянное опилками, сором, древесной трухой, и принялся приводить в порядок подрясник, прежде всего скинув его полы с плеч.

— Так ты, видать, поп? — вытаращил глаза Мурманск.

— Я — монах, и потом, что значит это “поп”? Почему сразу — “поп”? Сказал бы — “священник”.

— Батюшки, так мы монаха, как разбойника, связали да в сарай затолкнули! — запричитала Эльвира, придвигая к печке маленькую скамеечку и усаживая на нее Лазаря. — Прости, милок, обознались. Это хозяйка-то на нас страху напустила, ну мы и вызвались присматривать да милицию вызывать. Я тебя сейчас всего отчищу, отогрею, вон чайку поставила, огурчики у меня есть маринованные, картошечка закутанная с разварочки, рюмочку прими для сугреву. Чисто не для пьянства, а для лечения. А мы крещеные, разве стали бы молитвенника вязать да в грязи валять! Прости нас, сердечный!

— А чего ты шапку мне на лицо надвинул, с сетью этой на меня полез, зачем тебе сеть-то рыболовная посреди зимы? — недоверчиво ворчал Мурманск. — Я, вишь, тоже рыбак, но мы зимой сетями рыбу не ловим…

Лазарь прижался боком к жаркой печи, размяк.

— Я тебя довезу до монастыря, не держи обиду, только помоги машину из сугроба вытолкнуть, вмиг доставлю.

Эльвира уже постелила скатерть, разложила огурчики и капустку, поставила рюмочки и пузырь с самогоном.

— А я в церковь не хожу, — вздохнул Мурманск. — Грехи не пускают. Да и некогда. Я вот чувствую, что у меня Бог — в душе. Ну выпьем — для выздоровления. А то я тоже больно задубел на морозе. Руки не слушаются. А сейчас еще машину откапывать… Ну так я правильно мыслю — главное, чтобы Бог был в душе?

— Да вот ты сейчас меня с разбойником спутал, хотя ведь все-таки можно было почувствовать, что я — не он. Ну что какие-то от меня другие энергии исходят. А ты их не прочухал, пошел на меня, как на медведя… А если такое элементарное дело не можешь просечь, то как различишь, кто это у тебя в душе — Бог или притворщик, тот, который Им прикидывается?

— Это верно, — вздохнул Мурманск, запихивая в рот капустку. — Мне вон недавно вместо тасола простой подкрашенной воды продали. Все, фабричная упаковка! Я залил, а морозы, и как там все замерзнет, как рванет! А как проверишь? Ну теперь я нюхаю, а то и пробую на язык — у тасола такой вкус… особенный. А что — вместо Бога могут тоже невесть кого подсунуть?

— Вот именно, — миролюбиво отвечал Лазарь, радуясь теплу, покою и тому, как удачно пошла его проповедь.

Отец Дионисий же, услышав грохот на кухне, устремился вслед за Валентиной. Он рванул на себя хлипкую дверь уборной, сорвал крючок и выскочил насквозь, спотыкаясь о дрова.

— Валентина, — позвал он и пошел на ощупь на шум в комнате. Он понял, что она, должно быть, попала в собственные же ловушки.

Тут до него и донеслась ее грозная отповедь о том, что “дом окружен”: наконец он все понял.

— Валентина, — повторил он, — что же это за маразм такой! Это же я, иеродьякон Дионисий! Вы что, не узнаете меня? Я на вас не обижаюсь, но и вы на меня не должны сердиться. Дом действительно окружен, но никакие это не соседские голоса. Тот, кого мы ожидали, здесь, у самого крыльца. Я наткнулся на него. Форменный уголовник. Пощады от него не жди. Да он там и не один. Прислушайтесь — прямо под окном разговаривают.

Из комнаты раздался стон, потом радостный крик:

— Отец Дионисий! Откуда вы здесь? Как вы почуяли, что я в беде? Как вы сюда попали? Это по внушению свыше — я точно знаю! Я так настрадалась! Бандит каким-то образом проник внутрь, я его видела — гадкий такой, вид бесовский, и теперь он затаился где-то здесь. У меня есть топор и кочерга.

— А почему так темно?

— Я вырубила весь свет. Нет, у нас точно с вами есть духовное родство, я так и чувствовала…

Дионисий, спотыкаясь, стал пробираться обратно через уборную в предбанник, шаря по стене, чтобы нащупать пробки.

А в это время к дому уже направлялся милиционер Игорек. Был он маленького росточка — странно даже, что такого взяли в милицию, с лицом в меленьких красных прыщиках: именно что не Игорь, а Игорек.

Не знаю, почему в Троицке вся милиция такая хлипкая? Что-то в этом виделось явно символическое, склонявшее к мысли, что сей монастырский городок был не под сомнительной защитой ненадежных человеческих рук, а под крепкою дланью Божьей. Меня, когда приезжала на машине, все время останавливал, хотя и высоченный, но болезненно худющий — кажется, вот-вот переломится пополам — лейтенант Маточка. Так и говорил: “Лейтенант Маточка. Вам за нарушение — штраф. Вы проехали по улице, не пристегнувшись ремнем, — непорядок”. Или: “Лейтенант Маточка. Вам штраф. Почему у вас колеса, как у “Татры”? Непорядок”. В конце концов, завидя его загодя, я сразу доставала купюру, чтобы он немного подкормился. Единственный раз, когда он зазевался и меня не остановил я затормозила сама: “Вы — Маточка? Почему не останавливаете? Непорядок. Вот, возьмите штраф”. Он удивился, но взял. Правда, с тех пор старался мою машину не замечать. Даже нарочно отворачивался, когда я проезжала мимо.

Однако вернемся к Игорьку. Пришлось ему бросить машину возле какой-то застрявшей в снегу колымаги, в которой, приглядевшись, он узнал “жигуль” кума, и теперь он шел, бдительно посматривая по сторонам и ощупывая рукой табельное оружие. В темном саду он увидел двоих, один из них что-то методично внушал другому, а тот слушал его внимательно и наматывал на ус. Это поразило Игорька весьма неприятно: Эльвира говорила ему, что преступник один и к тому же связан, да еще и заперт в сарае. Поэтому он несколько сбавил шаг и глубже — для суровости — надвинул на лоб шапку.

— Ваши документы, — тоскливо произнес он, на всякий случай не входя в сад, а остановившись у калитки и стараясь не заступить за черту света, отбрасываемого единственным фонарем. Дальше уже шевелились тени, постепенно сгущаясь, чтобы перейти в кромешный мрак.

— А ваши документы? — моментально отреагировал Никифорович. — Я — водитель наместника Свято-Троицкого монастыря. Вот таким макаром, Господи Боже мой!

И он победоносно посмотрел на Ваню с его черным котом.

— Еще чего! Ты у меня поговоришь! Из монастыря он! В такое время монастырь ворота свои закрыл, молится, поклоны кладет. В отделении у меня поговоришь с твоим макаром! — посуровел Игорек, но на всякий случай сделал шаг назад, оказавшись в самом эпицентре света. — Всякому преступному элементу свои документы показывать — это ловко придумано. Приказываю вам следовать за мной — до выяснения личности.

Ваня испугался, что милиционер их сейчас уведет, а его будущая спутница жизни так и останется в темном доме вместе с бандитом. Поэтому он решил сманеврировать:

— А может, ты и не милиционер вовсе. Может, ты просто так — переоделся милиционером, а его убил и закопал в снегу, — неожиданно ввернул Ваня, подхватывая на руки кота. — Мне в КПЗ такие случаи рассказывали. Ишь, метр с кепкой, мальчик-с-пальчик, от горшка два вершка — приказывает он тут, я вон тебя на козырек над крыльцом посажу, что делать будешь? А лучше-ка попробуй войти в дом.

— А кот-то тебе зачем? — не утерпел Никифорович и, словно мстя Ване за вопросы о куреве да о знании молитв, спросил, стараясь выказать ему как можно больше презрения: — Продаешь, что ли? Что — неразменный рубль?

— Какой такой еще рубль, это мы в отделении сейчас разберемся, — грозно затянул Игорек. — А за оскорбление ответите. Дразнится он тут, угрожает. Я при исполнении. Прошу не оказывать сопротивления представителю власти, прошу организованно пройти в машину… Предупреждаю, у меня табельное оружие.

Это придало ему смелости, и он решительно шагнул в темноту.

— Видали мы таких на зоне, — совсем уж расхрабрился Ваня и сплюнул в сугроб.

В этот самый момент Дионисию все-таки удалось ввернуть пробку, и в окне кухни вспыхнул свет. Через мгновение там мелькнул и сам он собственной персоной в собачьей шубке. К груди он крепко прижимал блокнот в кожаном переплете. Поймав Валентинин взгляд, скользнувший по его трофею, он кротко спросил:

— Я возьму его обратно, ничего? Я вам другой подарю. Или — узор. Хотите — узор?

— Что у вас за вид? — ахнула Валентина. — Ну да, Святки же, а я и не догадалась — ряженые повсюду ходят, вы, наверное, колядовать пришли, а тут такое… А подарки мои — конечно, берите, простите, если что не так.

Что-то шевельнулось у нее в груди — нечаянная радость, догадка полыхнула в мозгу: он переоделся, чтобы никто его не узнал, пока он шел сюда. Чтобы прийти инкогнито… А зачем? Что он хотел этим сказать? “Прости, это я так специально выразился про духовный союз, чтобы тебя испытать… Мне так дорого то, что ты мне подарила… Споем же “Добрый вечор, пане”, растолкуем какое-нибудь место из Священного писания, прочитаем вместе акафист…”

Нет, материал явно ослабил свое сопротивление…

— Отец Дионисий, — радостно вскрикнул Никифорович, увидев его наконец в зажженном окне, и победоносно показал на него милиционеру: — Вот он — это наш, из монастыря. Диакон. Таким макаром…

Он принялся колотить в окно.

— Что — и этот бомжара в окне — тоже из монастыря? — вскинулся Ваня. — Да я подозревал, а теперь явственно вижу — правильно вас вызывали, только не один тут налетчик, а двое их. Шайка. Я того, который в доме, давно уже стерегу, а тут — этот, другой, переодетый. Ловко же замаскировался! По Москве тоже много таких бродяжит. Волки в овечьей шкуре. Я сразу их узнаю. Женщину захватили. Берем их и к вам! Я пособлю.

— Ах, так он переодетый, — хмыкнул Игорек, чувствуя облегчение, что хотя бы эти двое у крыльца оказались поврозь, а кроме того, испытывая нечто вроде благодарности этому рыжему за поддержку. — Вот оно что. А то я думаю: почему он в монашеском костюме? А мне Эльвира звонит, говорит, приезжай, забирай разбойника, а то он в дом рвется, не ровен час ограбление. А на мне — висяк. Выговор могут влепить.

Отец Дионисий приложил две ладони к стеклу, выглянул, всматриваясь в темноту, наконец радостно закивал: узнал Никифоровича, который делал ему знаки: “Открой! открой!”, разглядел Игорька в милицейской форме, нахмурился, переведя взгляд на Ваню.

Наконец, он махнул рукой Никифоровичу, указывая ему в сторону двери, и тот двинулся огибать дом. За ним устремились Ваня и Игорек. Дверь распахнулась, и они, отряхнув на пороге снег, стали заходить внутрь. Первым прошествовал Никифорович, вторым оказался Ваня, которого сзади тихонечко подталкивал в спину Игорек, словно давая понять, что все у него под контролем, он сам начеку и вводит их в помещение не иначе как под конвоем. Но в дверях Ваня вдруг замешкался, явно из вежливости пропуская Игорька вперед.

— После вас, — бдительно сказал страж порядка.

— Да входите, входите, не бойтесь, не убегу, — улыбнулся Ваня.

Игорек заколебался, но все же прошел вперед, Ваня же последовал за ним, захлопывая за собой дверь. В доме царил разор и хаос.

Однако они не видели, как со стороны Эльвириного сада к внутренней калитке, соединявшей участки, приближались Мурманск и Лазарь, оба с лопатами наперевес. Они-то не видели, зато и Мурманск, и Лазарь прекрасненько даже успели разглядеть, как милиционер исчез в доме, подгоняемый сзади страшным бандитом, сразу запершим за собой дверь.

— Ну все! Хана теперь Игорьку! — запричитал Мурманск. — Взяли его в заложники. Пытать теперь будут. Обиды лагерные вымещать.

— Будем штурмовать? — как-то вяло поинтересовался Лазарь.

— А ты что думал? Ведь кум же мой. Куманек. Отличник учебы был. На гармони играл.

И они остановились у дверей, чтобы обсудить стратегию.

А игумен Иустин, позвонивший на нижние ворота и узнавший, что Никифорович уехал да так до сих пор не вернулся, встревожился не на шутку. Он послал келейника по кельям Лазаря и Дионисия, но и тот вернулся ни с чем. Тогда наместник взял ключи от старой Волги, стоявшей в нижнем гараже, раскочегарил ее и отправился самолично на поиски пропавших монахов. Весь город был уже погружен во тьму, завален снегом по самые окна низких изб. Он ехал медленно и осторожно, заглядывая в глубь улиц и проулков, вилявших в сторону от главной дороги. Наконец, на одной из них, той, что как раз проходила у подножия холма, на котором возвышался мой дом с окнами, полными веселых огней, он увидел свою машину. Он остановился и полез по холму.

Честно говоря, он был очень зол. Ну что за дела — наместнику вот так ночью бегать за своими насельниками. Наверняка ведь гуляют там, веселятся, совести у них нет — вчера ведь только были в гостях — нет, и сегодня им подавай застолье, байки. Никифоровича бы хоть постыдились ясно же, что наместник его за ними послал уже больше двух часов назад, так нет… Развинтились! Нет, строгость монаху всегда полезна, а попустительство подстрекает его ко греху. Он уже придумывал прещения, которые ожидают его чернецов в случае самовольной отлучки из монастыря или возвращения после девяти вечера, он уже понял, как надо организовать систему пропусков на нижних воротах, чтобы никто не мог проникнуть тайно и избежать возмездия, он уже представил, что именно скажет сейчас этим своим лжебратиям, так коварно пользующимся его дружбой. Вот еще — драхмы потерянные, заблудшие овцы нашлись, чтобы он теперь их, как пастырь добрый, тащил через ночной буран на своей спине… Наконец, вскарабкавшись и задыхаясь, он вошел в калитку и различил мужские голоса, которые вели бурный диалог. Слышалось что-то такое: “Я драться-то не могу”, “Так это я буду бить, а ты только пугай, размахивай побольше лопатой, а когда упадет, знай залавливай в сеть да вяжи”. Он помедлил, но все же, помолясь, шагнул вперед, завернул за угол к двери и тут вдруг нос к носу столкнулся с красномордым мужиком и с Лазарем, в руках у которого была лопата, а с плеча свисала длинная сеть. Они будто и не сразу заметили его, настолько были погружены в разговор. Он опешил.

— Отец наместник, — наконец изумленно протянул Лазарь. — Зачем ты здесь? Разбойники все-таки забрались в дом, взяли в заложники милиционера…

— Мой кум, — сокрушенно пояснил Мурманск.

Иустин поднялся на крыльцо и с силой нажал на звонок.

…А что же было со мной? Думаете, я на всех порах мчала в столицу в теплом купейном вагоне, отлеживая бока, созерцая заснеженные просторы и прихлебывая горячий чаек с этой вечно назойливо звенящей в стакане ложечкой, — настолько назойливо звенящей, что она сделалась уже литературным штампом? Да как бы не так…

Посадив Ваню на автобус с легким сердцем, что все так славно уладилось, я отправилась за железными дверями, все посмотрела, приценилась и преспокойно вернулась на вокзал. У меня было еще достаточно времени, так что я не торопясь зашла в ресторан, съела салат и, когда настал срок, чинно проследовала на перрон. И тут что-то вдруг стало у меня в душе щемить. Это тревожное чувство все нарастало и нарастало, пока я не поняла, отчего: билета-то у меня не было! Как так? А так: я его так и не купила. Встретила Ваню, напридумывала всяких картин из его будущей жизни, дала ему денег, снабдила всякими наставлениями… Вытеснил он у меня из головы мой билет. Спохватившись, я ринулась снова в ту кассу, около которой его и встретила. Там огромная очередь: конец школьных каникул, все стремятся в Москву, билетов нет… Что значит, нет? Нет и все! А муж меня ждет поутру? А автобусы в Троицк уже перестали ходить? А на дворе — полдесятого, метель?

Я чуть не заплакала: “Господи, это я во всем виновата, но устрой все ко благу! Обрати все во славу Твою”. Вспомнила вчерашние наставления монахов после их святочных рассказов, возопила: “Собери, как рачительный Хозяин, там, где Ты не рассыпал”.

После моей повинной мне стало легко: должно быть, я с самого начала сделала что-то неправильно, надо было мне Ваню самой привезти, бедолагу такого, непутевого дурня, колобка, который катится-катится неизвестно куда, и все кому не лень его покусывают со всех боков, пока не сожрет его окончательно какой-нибудь лукавый зверь. А ведь колобок-то хороший, добрая потрачена на него мука. И теперь что — этот уголовник придет, а Ваня-бомж, проведший полтора года в КПЗ, начнет ему на фене объяснять, чтобы он проваливал, да сплошное кровавое побоище будет… Кончится все тюрьмой.

Я поймала машину и помчалась обратно в Троицк.

Когда я вошла, никто меня не заметил. В доме было примерно так, как после недавнего налета бомжей. Весь пол был залит густой жирной жижей, мутной водой, в которой валялись опилки, гвозди, осколки и даже поленья… Я поняла, что братан-близнец все-таки сдержал свое обещание. Но каково же было мое изумление, когда я распахнула дверь комнаты и увидела, что все — Дионисий в своем диком наряде, Лазарь с сетью, отец Иустин, Валентина, Ваня, милиционер с пистолетом и Мурманск с Эльвирой, — стояли в комнате и, жестикулируя, говорили одновременно. Ваня даже силился читать стихи, стараясь держаться поближе к Валентине, но его, кажется, никто не слушал. Увидев меня, все смолкли.

— Вот и хорошо, — наконец проговорил отец Иустин. — Наверное, нам пора.

— А этого, — сказал милиционер, — я должен задержать… До выяснения личности.

Он ткнул пальцем в Ваню.

Тот выразительно посмотрел на меня:

— Вот, — окатывая всех невинным голубым взором, он поднял сумку с продуктами, которую все еще держал в руке. — Может, перекусим? Там яички, колбаска…

— Гепнулись твои яички, — отозвался Мурманск. Действительно, из пакета сочилась желтая склизкая жижа.

— А это — кто? Это и есть тот братан? — поинтересовался Дионисий.

— Это мой студент. Он приехал сюда пожить, отдохнуть душой… В любом случае — он не виноват.

— А почему у него такой странный вид? — спросил отец Иустин, уходя и жестом приглашая монахов вслед за собой.

— А у Дионисия почему? — ответила я вопросом. — Ну он просто настрадался от себя самого. Это длинная история. Загадочная душа. Купил лошадь — без хвоста.

— Ему бы помыться, — сказал Иустин-наместник. — Хочешь, я возьму его с собой в монастырь? Чтобы он хоть в ванну окунулся, что ли…

Я сказала:

— Бери.

И они все ушли.

Мы с Валентиной все вычистили и уже далеко за полночь улеглись спать.

— Знаете, — сказала она, — я раньше совсем не понимала монахов. А теперь поняла. Они же не могут дружить, представляете или нет? Не имеют права. Потому что дружба — это всегда пристрастие. У них не может быть и духовного союза. Потому что союз — это привязанность. Поэтому они так строги. Иногда — слишком даже строги. Просто жестоки. Вот как им трудно. Но сердце-то не обманешь…

Я попробовала заговорить с ней о Ване, ну, чтобы она позаботилась здесь о нем, заключила бы с ним духовный союз. Тем более что это такой материал, что никакого сопротивления не окажет. Но она уже спала. Да это и было лишним: Ваня как ушел тогда мыться, так больше никогда не выходил из монастыря. Как забрал его с собой Иустин, так он и остался возле него. А если и обрел себе Хозяйку, то ею оказалась Сама Царица Небесная — покровительница всех честных иноков.

Когда муж мой поминает мне эту историю, заставившую его так волноваться, — ведь я обещала приехать, а сама задержалась на лишний день, — я ему говорю: наверное, для того, чтобы отдать человека в монахи, да еще на Святки, требуется с особой лихостью закрученный сюжет.

А бандит, который вызвал весь этот переполох, так и не появился: должно быть, он добыл-таки себе визу в Эстонию и уехал в родной Кохтла-Ярве к маменьке и братку-близнецу.

И дом мой после этого никогда больше не подвергался разграблению, хотя я так и не поставила на него решетки: знающие люди мне сказали — бесполезно, решетки-то вместе с железными дверями в первую очередь и сопрут, но он и так, по милости Божией, стоит, целехонький, до сих пор и ждет, пока его не превратят в молитвенный скит.

Никифорович, как и предполагал отец Иустин, оказался неблагонадежен для монастыря, поскольку недвижимостью он все-таки обзавелся. Хотя он и принял постриг и живет в монастыре, все норовит, что ни день, хоть вполглазка, мельком взглянуть на свое заветное приобретение. Скользнет взглядом и удовлетворенно вздыхает: “Вот таким макаром, Господи Боже мой, вот таким макаром…”.

Что же касается кота, которого подкормил добрый Ваня, то, как это и было им задумано, он достался Валентине. В конце концов, Ваня же получил за него свой неразменный рубль.

*Опубликовано в журнале:
«Знамя» 2005, №12*